АЗБУКА ВЕРЫ

Ксения Игоревна Кривошеина

# Недоумок

Художественная литература · azbyka.ru

**Недоумок** – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/nedoumok

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

# Недоумок

*Ксения Игоревна Кривошеина*

## Часть первая

### Несчастный случай

Он крепко прижался к ней, обхватил руками шею, лицо потонуло в ее пышных волосах, его будто кипятком обдало, он резко проснулся. Из сна выбросило, как из катапульты падающего самолета, это он видел в кино про войну. Мокрый от пота и еще чего-то, чего сам не мог понять, Шура сбросил с себя толстое ватное одеяло и прислушался.

За стеной громко храпел дед, бабуля сердито цокала языком, чтобы разбудить его. Дед хрипло закашлялся, заматерился, пошел в уборную.

Мальчик вспоминал сон. Он повторялся все чаще, к его деталям он возвращался потом на уроке физкультуры. Можно было спокойно сидеть в сторонке на скамейке, наблюдать, как другие прыгали через «коня», лезли на шведскую стенку, а он вспоминал. Шурик был освобожден от занятий по физкультуре. Странно, что во сне он четко помнил удушливый паточный запах духов, он любил его, а особенно ее прозрачные вышитые блузки. Почему она стала так редко приходить к нему, он не понимал. Каждый раз он испытывал к ней чувство стыда, любви и ненависти. Он жил с ее родителями, бабуля у него была любимая, особенно ее пироги из песочного теста с малиновым джемом. Деда ему надо было называть отцом. Но когда приходила она, его сердце замирало от сладкой надежды, что когда-нибудь он узнает, кто же его настоящий отец. Единственный дом, где ему было хорошо и спокойно, была квартира тетки, родной сестры его матери.

Зазвонил будильник. Слишком рано, как всегда. Дед ставил его на час раньше. Надо было спешить в ненавистную школу. Он попытался сделать вид, что у него болит горло, стал «набивать» градусник, но дед вошел в комнату с ремнем. Охота пропала.

Потом ледяное обливание в ванной, это он знал, как «скосить», пускал душ, мочил в нем полотенце, долго изображал звуки, похожие на хлюпанье и фырканье, а сам сидел на табуретке рядом, потом выходил уже в трусах. «Молодец! Бойцом будешь!» — по-военному вскидочно приветствовал его дед, а сам уже в голубой майке, пижамных штанах рылся в личном холодильнике. Внутри него такой же порядок, как и во всей квартире, все по полочкам, все по полезности, по витаминности, корень женьшеня заспиртованный, он сам его выращивает на участке, масло облепиховое, оно от всех болезней, особенно от ожогов. Потом дед долго моется в ванной, харкает, сморкается, полощет горло, выходит с полотенцем на плече, в темно-синих трусах до колена, проглаженных со стрелкой. Бабушка печет оладьи, в кухне пахнет горящим маслом. Дед выпивает стопку водки, краснеет, потом ряженку прямо из бутылки и раскрывает газету. Бабушка ставит горку горячих оладий на стол, сметана съезжает по ним в большой эмалированный тазик, тает.

Шурик со страхом думает, что опять не приготовил математику. Выхода нет, нужно списать у Сашки на большой перемене.

— Вот гады! Опять они лезут куда им не следует! — не отрываясь от газеты и кефирной бутылки, возмущенно хрипит дед.

— Это кто, деда? — робко спрашивает Шурик.

— Ах ты, гаденыш, это кто тебе «дед»?!

— Это кто, «папа», лезет? — робко переспросил мальчик. Он почувствовал, как у него задергалось веко противным тиком, а потому прикрыл глаз ладошкой, чтобы «отец» не увидел.

— Гады — это те, кто против Советской власти, против нас! Это ты на всю жизнь запомни, выблядок. Я твой отец, а не тот, которого я бы завел в подвал да собственными руками пришлепнул бы. Эхма, нет у меня той власти, а то бы я…

— Ешь оладушки, мой хороший, да беги в школу. Не забудь, вечером к тебе пианистка приходит.

Ненавистная учительница музыки, гаммы, треньканье «собачьего вальса», дед слушает все через стенку. Один брючный ремень висит в прихожей, другой над кухонным столом, третий у Шурика над кроватью.

Мать жила в Москве отдельно, и виделись они раз в месяц. Она приезжала к нему всегда в один и тот же день, 30-го числа. Почему? Он долгое время не мог этого понять. Потом услышал случайный шепот бабушки с почтальоншей о деньгах, алиментах. Мать приходила на следующий день. Она целовала его, разворачивала липкую бумажку петушка на палочке, он сразу совал красный леденец в рот и долго его сосал. Мать проходила в комнату, возвращалась через десять минут, опять нагибалась к нему, и он уже полным ртом сладкой слюны целовал ее на прощание. Шурик никогда не спрашивал, где она живет и почему никогда не позовет его к себе. Ее волосы почти каждый раз меняли окраску по моде, она была одета в новую узкую юбку, высокие каблуки делали ее похожей на принцессу из сказки. «Только та была на горошине», — думал Шурик.

— Меня ждут в машине… Дай поцелую, фу, какой ты липкий… Мам, батя, скоро позвоню! — Обитая дермантином тяжелая дверь с треском захлопывалась. Иногда Шурик, прыгая через ступеньки, сбегал по лестнице вниз, торопился успеть быстрее лифта. Она спускалась с их шестого этажа, а он уже внизу, еще раз на прощанье обхватывал мать за колени. Во дворе ее ждало такси.

Петушок во рту не успевал растаять, а пальцы сжимались в липкие кулачки, которые он прятал в карманах.

Его постоянно дразнили в школе, частенько били, рос он каким-то недокормышем, несмотря на «отцовские» особые продовольственные пакеты, которые привозил шофер дядя Миша. Всегда у них были зимой помидоры, виноград и мясная вырезка. Больше всего он любил бананы, но они появлялись только к Новому году.

Умер Сталин. Дед люто запил, и ремень все чаще гулял по худенькой заднице Шурика. Ночное писанье в постели стало почти каждодневным. Бабушка скрывала это от «отца». Ей было страшно. Запой деду простили, он был на заводе «спецом», завпарткомом, заслуженный и медалированный ветеран. Скоро деда наградили. Органы посылали его руководить строительством авиазавода в Польше. Бабушка и Шурик ехали вместе с ним.

Три года, проведенные в Варшаве, остались на всю жизнь самыми счастливыми. Он перестал видеть во сне мать, перестал мочиться во сне, дед больше не лупил его, так как целыми днями был занят на заводе. И еще он как-то помолодел, мурлыкал фронтовые песенки, вместо «Беломора» стал курить болгарские сигареты. В этом советском дипломатическом

«варшавском гетто» разрешалось мало, выходить за территорию можно было только с бабушкой и шофером. Солдат проверяет пропуск, при возвращении опять проверка, смотрит в глаза, долго, внимательно, вдруг это не ты, а другой мальчик, бабушкину авоську и сумку перебирают. И все равно, это был рай для Шурика. Оттого что у них была польская домработница, молодая девушка, он научился болтать по-польски, она его баловала и любила. Посольская школа была домом счастья, где ему ставили четверки и пятерки — только повышенные отметки должны были получать дети советских дипломатов.

Однажды с урока русского языка их учительницу вызвали к завучу, потом Шурик встретил ее во дворе школы, она злобно посмотрела на него, и больше он никогда ее не видел. Когда он вернулся домой, бабушка говорила с дедом на кухне.

— Эта училка ему тройку за сочинение поставила. Ну и как ты думаешь, достойна она в нашей школе преподавать?

А он и не знал, что у него была тройка. Он видел, что все получили отметки за сочинение «Моя родина», а его тетрадка исчезла, все искали, ребята даже лазили под парты, учительница строго на него смотрела, потом ее вызвали к завучу.

В Польше за три года он почувствовал, что стал лучше, умнее, а главное, он подрос. Учительница музыки, только другая, продолжала приходить к нему заниматься три раза в неделю. Теперь ему нравилось тренькать на рояле, у него оказался абсолютный слух, и стало что-то получаться. После занятий «отец» провожал пианистку до дома, жила она в городе, вне посольской территории, в казенных домах для обслуги дипкорпуса.

Три года прошли быстро. Ему исполнилось 13 лет, и деда вернули в Москву. Даже полусвободная жизнь советского гетто в нашей Польше была для него раем. Возвращение в ненавистную сталинскую полувысотку, ночные кошмары, свидания с матерью опять отбросили его назад. Единственная радость для него — это квартира тетки, там он всегда чувствовал себя любимым, мог часами валяться на диване, играть в подкидного дурачка с двоюродной сестрой Ланой.

— Слушай, а ты знаешь, почему нашего дедулю зовут Владиленом? — спросила однажды Ланочка. — Это ведь означает Владимир Ильич Ленин. Он и маму мою назвал в честь майского праздника, и имя твоей мамы тоже соответствует.

Нет, он всего этого не знал и даже никогда не задумывался об этом. Он глухо тосковал по Варшаве. Дом тетки и Ланочки, где его любили и жалели, стал для него настоящим убежищем. Тетка свою родную сестру (его мать) осуждала, и однажды он подслушал разговор тетки с мужем: «Она курва порядочная, алименты берет, а на парня ни копейки родителям не отстегивает, все старики на него корячатся».

Под Москвой у «отца» был садовый участок. Это, как он говорил, для него было «святое место». Не дом, а домик, не будка садовая, а что-то похожее на избушку в две комнаты, он говорил, что совесть его партийная не позволяет выстроить «хоромы», как у соседа. В углу участка, там, где шло тепло от какой-то магистральной трубы, дед покрыл пленкой землю и посадил женьшень с облепихой. Получилось, что-то вроде парника для редких разновидностей растений. По выходным он полол, копал и сажал. Двадцать минут на автобусе от центра Москвы — и ты на даче. Дед сразу раздевался, натягивал старые военные брюки, калоши на босу ногу и шел в огород. Бабушку к земле не подпускал, говорил, что она не с Украины, а потому все испортит. Шуру заставлял обрывать усы у клубники и таскать в старой тачке кирпичи из соседней разоренной церкви. Шура люто ненавидел этот участок, отправляли его

сюда каждое лето во время каникул, а потому ждал он их не с радостью избавления от школы, а как двойное наказание. Двоюродная сестра Лана иногда приезжала на выходные, и для Шуры это были самые радостные дни.

Она была старше его на два года и казалась уже почти девушкой.

Однажды ночью он проснулся оттого, что услышал, как она всхлипывает, потом громче, потом тишина. Спала Ланочка в коридорчике, прямо перед верандой.

«Странно, почему она плачет?» — подумал Шурик. Он прислушался к какой-то возне, шепоту, вроде голос деда, а кто-то скулит, потом дед закашлялся, хлопнула калитка, залаяла соседняя шавка. «Значит, он вышел покурить», — подумал мальчик и провалился в сон.

На следующее утро он проснулся поздно, в доме тихо, радио уже передает сказку. Лана, видно, пошла к соседней подружке, они любят вместе секретничать. Шурик еще полежал под простыней, послушал вкрадчивый голос чтеца про Оле-Лукойе и вышел в огород. В конце участка он увидел фигуру «отца», который возился в своем парнике. Шурик побрел к нему. Странно, дед курил. Обычно он говорил, что женьшень не переносит дыма и микробов. Не вынимая изо рта бычок «Беломора», он остервенело выкапывал китайские корни из земли.

— А где Ланочка? — спросил Шура.

— В Москву уехала, — ответил дед.

— Почему? Вроде она не собиралась…

— Не знаю, — мрачно буркнул «отец».

В воскресенье вечером они вернулись в Москву, и Шура позвонил сестре. К телефону подошла тетка.

— Лана больна, она не может с тобой говорить…

— Она поедет со мной на дачу в следующую субботу? — спросил Шура.

— Нет, на эту проклятую дачу она больше никогда не поедет, — тетка заплакала, перевела дыхание. — И скажи своему «отцу», что я ему больше не дочь. Так ему и передай! — В трубке послышались короткие гудки.

Все это было для Шурика непонятной загадкой, все в его голове перевернулось, он присел на стул рядом с телефоном и долго рассматривал узоры арабского ковра.

Утром он увидел красные от слез глаза бабушки. Она собиралась ехать на другой конец города к тетке.

Ему было трудно тогда понять, что произошло с Ланой. Почему она уехала с дачки, не попрощалась с ним? Он любил ее и был совершенно уверен, что когда вырастет, то придет к ней домой с букетом цветов и попросит стать его женой. Они будут счастливы. Ему нравилось в ней все, особенно трогательный пушок над верхней губкой, похожий на тонкие усики, они смешно топорщились, когда она смеялась. Он дрожал всем телом, когда трогал ее за толстую русую косу, всегда аккуратно заплетенную, с широкой шелковой лентой. Он любил ее толстенькие, маленькие ножки и вообще всю так плотно сбитенькую фигурку. Весь облик Ланочки, телесный и душевный, вызывал в нем покой, уют, и ему казалось, что только она и

есть для него настоящая защита. Что-то подобное он испытывал во время внезапного ливня на детской площадке перед домом: он стремглав кидался под грибок-мухомор из жести и дерева, с красной раскраской и белыми пятнышками, сидел под ним совершенно счастливый, вокруг лились потоки воды, а ему было тепло и сухо. Ланочка всегда знала, как нужно действовать, в школе была круглой отличницей, частенько готовила уроки для него, особенно математику и русский.

Прошло два месяца, как она вышла из больницы. Он позвонил ей утром, тетка была на работе. Теперь подошла к телефону Лана.

— Ланочка, я хочу тебя видеть, ну пожалуйста, — взмолился Шурик. Сквозь слезы и всхлипывание она сказала: «Приезжай».

Дверь ему открыла другая девушка, это была и она, и не она. Похудевшая, стриженная под мальчика, глаза заплаканные и серьезные.

— Ланочка… где твоя коса? — испуганно спросил он.

Она ничего не ответила и прошла в комнату, села на тахту, ее новая юбка из тафты была похожа на пачку балерины, а маленькие ножки были одеты в белые носочки и красные туфельки.

— Скажи мне, что с тобой случилось? Почему ты была в больнице? Я ходил туда, но меня к тебе не пустили, сказали, что детям нельзя…

— Шурик, я не могу тебе ничего сказать, когда-нибудь потом. Но ты должен обещать мне, что перестанешь ездить на дачу к деду… Я его ненавижу, — совсем тихо прибавила она, и по ее щекам потекли слезы. Потом она нагнулась и из-под тахты вынула обувную коробку, перевязанную бурой бумажной веревкой.

— Это тебе на память.

— Что это? — Он взял коробку.

— Нет, ты сейчас в нее не смотри, потом раскроешь, когда домой придешь. — У Ланочки глаза были добрые, и пушок над верхней губкой зашевелился в грустной улыбке.

— Давай в дурачка поиграем, — робко попросил Шурик.

— Нет, я не могу, сейчас придет докторша, и тебе пора идти домой. Я не хочу, чтобы она тебя видела, маме нажалуется…

Шурик вышел на улицу. Было промозгло и холодно не по-майски. Коробка из-под туфель «Скороход», которую он крепко держал под мышкой, прожигала ему бок. Он вышел на бульвар, сел на скамейку и развязал веревку. Сердце его ушло в пятки. На дне коробки, в голубой гофрированной бумаге, лежала толстая русая коса Ланочки.

* * *

В середине мая дед совсем переселился на дачу. Бабушка туда не ездила, и он жил как сыч, возделывая грядки, обрезая кусты малины, высаживая новые сорта трав. Была у него мечта — дожить до ста лет.

Московскую квартиру, обставленную немецкой трофейной мебелью, горками хрусталя, коврами, кресла, зачехленные белыми простынями, которые снимались по большим праздникам, Шура не любил. За ним со стены их парадной комнаты вечно зыркали с фотографий лица деда и бабушки в военной форме. Шурику каждый день приходилось проходить через эту залу, чтобы попасть в ванную. Был в этой комнате большой платяной шкаф, который стал для Шуры надежным другом и убежищем. Когда он оставался один или линял с уроков в школе, то залезал в его чрево и прятался за ворохом одежды, аккуратно развешенной на плечиках.

Детская память Шуры запечатлела рассказы о том, что эта квартира досталась деду от выселения какой-то репрессированной семьи. Было в этом слове «репрессированный» что-то унизительное и для него непонятное.

Три раза в неделю приходила к ним домработница, всегда молчаливая, мыла кафель в ванной, паркет во всей трехкомнатной квартире мазала бордовой мастикой, потом надевала щетку на ногу и терла до блеска.

Деда сейчас не было, он теперь жил до глубокой осени на даче, но странное дело, Шурик без него не чувствовал себя хозяином этой огромной территории. Вчера был последний звонок в школе, его вызвали к директору и объявили, что педсовет решил оставить его на второй год в восьмом классе. Записали в дневник, чтобы пришли в школу родители. Пятерки польской дипшколы довольно быстро превратились в тройки и двойки. Особенно ненавистным был ему «слесаренок», учитель по труду. Он издевался над Шуриком, при всем классе говорил, что он «не достоин своего отца, который такой особенный и весь в заслугах, а он — Шурик — не умеет держать напильник», и что «руки у него растут не из того места». Однажды Шурик пошел в кабинет химии, из шкафа взял то, что плохо пахнет, коробок спичек, веревочку промочил, связал, в комочек закатал и под стул «трудовику» приклеил. Взрывчик был маленький, но запаха и дыма много. «Слесаренок» испугался, побежал в учительскую. Кто-то видел Шуру у химшкафа. Все сходилось — это мог сделать только он. Сил отпираться у него не было. Он плакал, умолял не сообщать «отцу», над ним сжалилась директриса, исключение заменили на взятое у него обещание подтянуться до конца года и установили над ним шефство. Знаний у него было ноль, дома он что-то долго врал о дневнике, подделывал отметки. Но наступил конец учебного года, а с ним вернулся страх.

После случая с Ланочкой дед сразу переехал на дачку и будто затаился ото всех. Последние несколько месяцев Шурик жил спокойно. О нем забыли. Но теперь каждый день приближал его к страшной расплате.

Сегодня с утра Шурик мучился от невозможности придумать, как сказать деду о школе. Он один, Ланочки в Москве нет, ее увезли в санаторий, бабушка не в счет. Когда у него бывали такие дни, он залезал в шкаф, в нем хорошо и безопасно. За ворохом старых платьев бабушки, «выходным» костюмом деда, обувными коробками со старыми носками, устроившись на большом тюке с ненужным барахлом, Шурик сидел на дне, как за плотным театральным занавесом. Прижав колени к подбородку, он вспоминал, как прятался здесь от деда в те дни, когда тот выпивал, ругался на бабушку и кричал в пространство: «Всех в подвал и пулю в затылок!» На дне шкафа он мог отсидеться, чтобы не попасть под горячую руку деда, а бабушка говорила: «Шурочка ушел к соседу готовить уроки».

На душе у него сейчас было особенно муторно. Страшно представить, что мог с ним сделать «отец». У него стала кружиться голова от сильного запаха нафталина, и он вспомнил удушливый запах духов матери. Она не приезжала к нему уже несколько месяцев, а бабушка сказала, что «она теперь не одна». Он пошарил в темноте, хотел нащупать дверцу, но вместо

этого наткнулся на военный китель деда. Медали, ордена, нашивки, рука его скользнула ниже, вот карман. Сердце Шурика затомилось. В руке он почувствовал что-то гладкое, кожаное и тяжелое.

Удар ноги — и он выкатился на ковер. После кромешной шкафной тьмы свет из окна ослепил. Шурик сидел на полу. Обеими руками он держал кожаную коричневую кобуру пистолета. Потом он отстегнул пуговичку, и черный блестящий предмет выскользнул ему на колени.

Наверное, прошло минут пять. Нафталинный угар испарялся, глаза привыкли к яркому свету, он почувствовал, что сидит на чем-то мокром. Вскочил, побежал за половой тряпкой. «Бабушка будет сердиться, если увидит, что я ковер испортил», — подумал Шурик. Потом он замочил в раковине трусы и тренировочные штаны, отжал и снес к себе в комнату. Батареи под окном уже не грели, лето наступало холодное, черемуха в этом году только доцветала. Во дворе соседка выгуливала черного пуделя. Он был недавно подстрижен и напоминал Артемона из «Золотого ключика». Это была любимая сказка Шуры, перечитывал он ее бесконечно, а еще слушал по радио. Садился в коридоре на табуретку под радио-приемником и замирал. Голос чтеца был вкрадчивым и убаюкивал. Шура всегда ждал конца, хотя знал его наизусть: Буратино, папа Карло, Артемон, Мальвина спасались от Карабаса Барабаса в камине, за старой занавеской оказывалась потайная дверца, и золотой ключик открывал ее, а там, дальше, был проход в другую сказку. Воображение Шурика уносилось далеко, он представлял себя вместе с Мальвиной — Ланочкой в мире счастья.

Из окна было видно, как пудель во дворе бегает от хозяйки кругами. Она пытается его подманить, поймать за поводок. «Тиша, Тишенька, ну иди к маме», — слышался ее отчаянный голос.

Шурик подошел к своему диванчику. Поднял подушки, потом одеяло, ниже лежала коробка из-под «Скорохода». Он осторожно вынул косу Ланочки, на двух концах перевязанную красными ленточками, чтобы волосы не распадались. Завернул ее в ту же гофрированную бумагу и сунул под подушку. На дно коробки он положил пистолет.

На последний пригородный автобус Шура не опоздал, он приезжал в дачный поселок к девяти часам вечера. Автобус был битком набит мамашами с сумками и детьми разного возраста. Суббота, начало каникул, все полчаса он был зажат между толстой теткой и вопящим младенцем.

Почти в сумерках Шурик бежал от автобуса до дачи. Коробка будто прилипла к его телу. На участке деда уже не было, только курился догорающий костер из сухих веток. Окна закрыты, занавески задернуты, внутри домика будто никого. Шурик осторожно нажал на ручку двери, она мягко поддалась и пропустила его в коридор. Вот кушетка Ланочки. В темноте он присел на нее, перевел дыхание. Где-то в глубине дома слышалась возня, странные звуки. «Нужно сосчитать до десяти», — подумал Шура, сердце его билось как молот, и тут он услышал истошный женский крик:

— А-а-а!!!

Шура так испугался, что в первую минуту словно окаменел, потом бросился в комнату деда.

«Владилен Иванович, что с вами? А-а-а!!!»

Спиной к Шурику на железной кровати сидела совершенно голая их домработница. Впившись в безжизненное тело двумя руками, она сильно трясла его за плечи. Дед лежал на спине с выпученными в потолок глазами, рот его был открыт так широко, будто он застыл в вечном

парадном крике «Ура!».

Пистолет выскользнул и со стуком упал на пол. Голая баба осеклась в крике и обернулась.

— Шурик, ты только не говори бабушке, — совершенно спокойно сказала баба.

Шурик подошел к деду и посмотрел на его толстый волосатый живот, ткнул в него пальцем, жир заколебался, будто пленка на остывшем клюквенном киселе.

— Он умер? — спросила домработница.

Шурик почувствовал, как противный комок подступает к его горлу, потом затошнило, и блевотный фонтан выплеснулся на голое тело «отца».

## Другой отец

Прошло лето. Бабушка продала дачку. Ее купил сосед, военный отставник. У него на участке за забором были «хоромы». Домик деда он снес, на этом месте построил гараж. Женьшень и облепиху выкопал, засадил все георгинами, а в теплом углу на магистральной трубе сколотил баньку.

Однажды Шура услышал, как бабушка дольше обычного шепчется с почтальоншей.

Вечером она присела на край его тахты и сказала:

— Шурик, ты хочешь поехать жить в Ленинград, к своему папе?

Он не знал, что ответить, язык его прилип к небу, а в голове мелькнуло: «Значит, он жив, он не летчик, который погиб во время войны?» Он втайне всегда надеялся, что его отец — герой и что его нет в живых, а то, как говорил о нем дед, — все ложь.

— А как же учительница музыки? — спросил Шура.

— Слушай, тебе уже четырнадцать лет, ты хорошо играешь на рояле, у тебя абсолютный слух, а твой отец найдет тебе другую учительницу в Ленинграде. Твоя вторая бабушка, мать отца, — профессор Консерватории.

— Бабушка, а ты мне будешь посылать пироги с малиновым джемом в Ленинград?

— Шурик, я обещаю, что буду каждый месяц посылать тебе пироги, — она поцеловала его и накрыла до самого подбородка атласным стеганым одеялом. Чистые простыни пахли крахмалом, бабушка погасила свет и прикрыла за собой дверь. Впервые Шура заснул счастливым сном без сновидений.

Через две недели, придя из школы домой, он увидел на вешалке черную фетровую шляпу и пальто из драпа необычного песочного цвета. Вкусный шлейф сигаретного дыма дошел и до прихожей. Кто-то сидел в парадной комнате, слышались звуки разговора, позвякивание чайных ложек.

— Шурик, иди сюда! — позвала его бабуля.

За круглым столом, накрытым парадной скатертью, на расчехленном стуле сидел крупный мужчина лет сорока. В одной руке он держал чашку чая, а в другой дымящуюся болгарскую сигарету «Джебел». Бабушка разрезала торт с кремовыми розочками. Красавец отложил

сигарету и протянул к нему левую руку.

— Алик… Шурик… сынок, — смущенно сбивался он. Мужчина крепко притянул Шурика к своей груди и сдавил в объятиях. — Ах, как долго я ждал этого дня! — достаточно театрально воскликнул отец.

Худенькое тело подростка мелко дрожало в объятиях этого гиганта. Ему стало очень страшно, точно так же, когда он понял, что его «отец» умер. Он никогда не мог даже вообразить, что у него такой отец! «На кого он похож? Я его где-то уже видел! Фотография такая есть у моей пианистки, он ее любимый певец. Да, точно, это Шаляпин», — мелькало и путалось в голове у Шурика. Он набил тортом полный рот, сидел напротив и с восторгом смотрел на мужчину.

— Шурик, посмотри, как ты похож на папу, — лепетала бабуля.

Они и вправду были чем-то схожи; форма рук, длинные пальцы, как у пианиста, миндалевидная форма ногтей, кавказская чернявость, волосы густые, глаза большие, чуть навыкате, только у отца в глазах что-то светится, а у Шуры вечное выражение тоски и потухшести. Короче, этот мужчина был лебедем из сказки, а Шурик гадким утенком.

— Ты поедешь со мной в Ленинград? У тебя там есть сестренка, она младше тебя на два года, ее Катюша зовут.

Он не знал, как себя вести рядом с этим человеком. От навалившегося на него счастья все мысли в его голове перепутались. Шурик ел уже пятый кусок жирного торта, он не понимал, о чем говорит этот красавец, смысл разговора долетал до него, будто с небес, он слушал голос мужчины, как музыку. Слово «папа» он выговорить не мог, и не потому, что не верил ему, а потому, что суеверно боялся: вдруг он опять растворится и исчезнет.

Сборы были быстрыми, через два дня они сели в ночную «Красную стрелу», и она их домчала до города-героя Ленинграда. Потом пятнадцать минут на такси, и они уже в семье отца.

Дом в центре города, квартира огромная, будто музей, вся заполнена предметами, не такими, как у них в Москве, а другими. Мебель старинная, незачехленная, похожа на рухлядь (дед бы на дрова перепилил), зеркал много, книг повсюду набросано, в шкафах их больше, чем в школьной библиотеке, и рояль.

Жена отца, тетя Мила, ласковая, заботливая, сразу обняла и в комнату повела. Он у себя дома. Дочка у них, девчонка красивая (вся в отца), говорливая и шумная, на следующий день Шурика со всеми своими друзьями перезнакомила. Теперь они и его друзья.

Отец и вправду оказался человеком необычным. Он был артист, играл в театре и в кино снимался. Шурик, когда его за столом у бабушки первый раз увидел, сразу подумал: «Где-то я его видел», а сейчас он все вспомнил, и фамилия у них одна. В кино он командира одного здорово изображал, грима на нем почти не было. Шурик этот фильм несколько раз по телевизору у Ланочки видел. В свой театр, который за «Катькиным скверико́м», отец его сразу повел, за руку крепко держал и со всеми знакомил. К нему большой почет и уважение, он заслуженный и народный, играет разные главные роли.

Часто после спектакля, уже за полночь, когда отец и тетя Мила возвращались из театра, у них собирались друзья. Не было для них выходных и праздников. Всегда они работали, творчески горели, создавали образы и с друзьями обсуждали. «Творчество» было самым главным словом, вокруг него крутились все разговоры, о деньгах не говорили никогда, это считалось позорным. Да и зачем? Зарплата у отца и его друзей была большая, Катя говорила, что «как у академика».

Иногда на отца нападала тоска и самокритика, тогда он был не доволен собой, пытался оправдываться, больше курил.

— Хватит мне входить в образы современных героев, чувствую, что нужно отказываться, переходить на классику. Вот сыграл я в 48-м Дон Жуана в кино, а Мила была донной Анной. Ах как хорошо получилось! Так Сталин этот фильм запретил, сказали в Комитете, что несвоевременно и неактуально, положили на полку. Пора, пора думать иначе, пришло другое время, а я должен учиться у него, доверять молодому поколению.

Шурик за столом часто к этим разговорам прислушивался и с трудом мог понять, о чем они спорят. Однажды он Катюхе и тете Миле признался: «Не могу разобрать, как-то вы все чудно говорите, будто не на русском языке. В Москве я все понимал, а теперь нет».

Катюша только рассмеялась, а тетя Мила ласково его пожалела и сказала, что со временем он привыкнет к художникам и актерам и все поймет. Шурик вспоминал, как дед презрительно восклицал: «Бохэма!»; что он имел в виду и к кому это относилось, стало теперь очевидным.

В семейно-дружеских застольях отец был душой компании, смешные театральные истории рассказывал всем, анекдоты о Хрущеве — только среди «своих». Как он их распознавал, Шурик понимал с трудом. Он знал, что отцу доверяли не только в театре, вот почему он дружил и с разными военными, с ними он шептался о других людях. Шурик им в разговорах помехой не был, да и они его не смущались. Частенько он оставался в кабинете отца, тренькал на гитаре в уголочке, а отец с «ними» коньячок выпивал и о разных разностях беседовал (в основном о коллегах по театру). Катюшу, когда эти люди приходили, отец всегда из комнаты выпроваживал, шутливо говорил: «Это не женские разговоры, они скучные», а Шурик гордился, что ему доверяют, ведь он не из болтливых: «Вот видел бы дед, с кем мой отец встречается, иначе бы заговорил, тут не «бохэма», а подымай выше, на государственный уровень».

Шуре нравились тайны, и он их умел хранить. Никто никогда не узнает, куда он закопал пистолет, а домработница после смерти деда испарилась в неизвестном направлении.

Бывало, что у отца начинались тяжелые нервные срывы. Тетя Мила говорила, что это от переутомления. Тогда у него возвращался нервный тик (как у Шурика с глазами), он страдал и не мог играть на сцене, им дорожили в театре, поэтому сразу давали отпуск, и он уезжал на дачу в Репино.

Этот дом был его страстью, отец многое в нем построил собственными руками и говорил, что за домом нужно ухаживать, как за женщиной, — постоянно. Однажды он Шурика взял с собой. «Приучайся быть хозяином. Пора становиться мужчиной». Шурик настолько ненавидел дедовский дом, что не разделял страсти отца, но смолчал, губы поджал и через себя переступил.

На большом участке, заросшем соснами, возвышался дом-башня, на другом конце лесочка стоял сарай. Крыша его текла, а потому пришла пора ее починить. Местный шабашник привез отцу за поллитру большую железную бочку, в нее набросали куски дегтя-смолы, а Шурик разжег под бочкой костер. Рулоны черного рубероида они нарезали сами, получилось не очень ровно, какие-то куски были короткие, а другие — длинные. Потом отец переоделся в тренировочный костюм, надел большие рукавицы, на ноги — резиновые сапоги и полез по стремянке на крышу.

— Шурик, теперь рубероид подавай, я буду его класть, а потом мы горячей смолой все покроем.

Костер разошелся не на шутку, смола расплавилась и кипела, листы рубероида скручивались в руках у Шурика и никак не хотели слушаться. Весь он был в царапинах, ожогах и синяках. Отец на крыше совершенно преобразился, он настолько вошел в образ, что даже, вперемешку с матком и песней «Не сталевары мы, не плотники», стал подшучивать над Шуриком. Работа не очень спорилась, а у Шуры с непривычки разболелась спина, он потом всю жизнь говорил, что ему позвоночник отец сломал на доме. А еще ему было неприятно вдруг увидеть в отце не светского льва, а в роли какого-то работяги. «Наверняка он и меня держит за подмастерье, вот и дед так думал», — мелькало в голове Шуры. А на самом деле он ведь был талант, будущий музыкант, может быть певец, пока никем не понятый, не услышанный, но ведь все проходили через неизвестность. Из домашних застолий и от друзей отца он уже вынес, что так всегда нужно, пройти в искусстве через унижения, это как очищение. А потом обязательно придет слава. Но зачем отец его унизил на этой стройке, он никак не мог понять. И затаил на него обиду.

## Тетя Мила

Когда он ее первый раз увидел, то сразу подумал, что отец его мать бросил из-за нее. Потом он окончательно решил, что это она отца у его матери отбила. Странно, почему тетя Мила его так любит? Он же пасынок. Ясно, это чтобы отцу угодить. Дочку Катюху все принижает и ровней к нему делает, называет его «дорогой Шурочка», покупает шмотки, сама сшила ему модное пальто, брюки, свитера шикарные вяжет, стихи с ним наизусть учит, чтобы он на актерский факультет поступал. Притворство одно. «Просто она отца боится, а на самом деле я ей совсем не нужен». Вспомнил он мать, какая она была гордая, неприступная, именно такая женщина должна быть рядом с отцом. Мать его всегда знала, как действовать, и деду с бабулей говорила: «Я все знаю сама и унижаться ни перед кем не буду».

Он теперь видел, сколько вокруг отца разных бабочек кружится. С некоторыми он и его познакомил. Сидели они тогда в кафе Дома актера, а рядом с ними одна барышня. Она засмущалась, с открыткой подошла и просит у отца автограф. Девушка высокая, блондинка, с длинными волосами, как у «колдуньи» в кино. Отец ее за руку хвать и притянул к ним за столик. Тут они впервые выпили вместе красного вина. Она ему очень понравилась, но после ресторана отец ее поехал провожать, а его отправил пешком домой: «Проветрись немножко, небось голова закружилась». Опять унизил, да прямо перед ней.

Подрастал Шура плохо, был худосочным, на лице высыпали к семнадцати годам прыщи. Школу он так и не осилил, а потому отец его спас, отдав в ШРМ,[1] потом кое-как на тройках получил он «Аттестат зрелости» и поступил в музыкальное училище. Это бабка-профессорша его по блату протащила. Хоть и были у него способности, но, конечно, без «поддержки» он бы не потянул. В последнее время у него все чаще стало мелькать в голове, что его музыкальные таланты никто не видит, а во всем виноват отец. Его слава затмевает талант Шурика. И так будет всю жизнь.

А сегодня утром они были дома одни, и отец позвал его на кухню. На столе рядом с тарелкой каши «Геркулес» лежал почтовый конверт. Шурик сразу узнал почерк.

— Вот получил письмо от твоей бабушки…

Шурик весь сжался и от волнения хлебнул горячего чая, да так, что обжег весь язык и небо.

— Она пишет, что твоя мать вышла замуж. — Отец достал письмо из конверта и передал его Шурику.

Он всматривался в слова, аккуратным школьным почерком заполнившие полстранички тетрадного листка, и ничего не мог понять. «Как же она могла меня бросить?» — подумал Шурик. Эта мысль, как буравчик, вошла в его голову. Он растерялся и не знал, как реагировать на эту новость. От матери он никогда не получал писем, только однажды она прислала конверт и в нем свою фотографию. На черно-белой, сделанной в фотосалоне ретушированной картинке изображена была довольно молодая блондинка, с высокой прической взбитых волос. Плечи оголенные и прикрыты шелковой шалью. Было впечатление, что под ней она совсем нагая. В углу фотографии по диагонали было написано: «Дорогому сыну на память от мамы».

Однажды тетя Мила позвала его к телефону и сказала, что сейчас он сможет поговорить с матерью. У нее сегодня день рождения, и она специально заказала междугородний разговор для Шурика. Он довольно долго сидел у телефона, в трубке минут пять он вслушивался в странный треск, шипение, чужие голоса, наконец раздались длинные гудки. На другом конце провода никто не брал трубку. Противный голос телефонистки сообщил: «Абонент не отвечает», и все оборвалось.

…Слова отца вернули его из воспоминаний.

— Шура, ты должен, наконец, знать правду. Я никогда не бросал твою мать. Она забрала тебя грудным, в три месяца и уехала в Москву. Ей, видишь ли, не понравилось, что я плохо топлю печку! Мы тогда в сорок шестом жили в коммуналке, театр вернулся с фронта в Ленинград, все не обустроено, я был рад, что мне дали хоть эту комнатенку с печкой… В городе голодно, холодно. Мать твоя приехала из ташкентской эвакуации, где жила со своими родителями, как сыр в масле каталась. Думаешь, дед твой воевал? Да он в тылу отсиживался, лычки получал, от голода не пух. Трудностей моих она не понимала, и довольно быстро ей все надоело. Я умолял ее потерпеть, но она уехала, подбросила тебя к своим родителям. Твоя тетка мне всегда о тебе писала… — Отец был сильно взволнован. Он подошел к Шуре и обнял его.

— Но ты видишь, как мы любим тебя и хотим, чтобы тебе было хорошо у нас. Тетя Мила к тебе относится, как к родному сыну.

— А почему ты ко мне не приезжал? — спросил Шура.

— Так ведь твой дед грозился меня убить! Твоя мать наговорила им небылиц, будто я ее избивал и специально голодом морил! Он письма в партком театра на меня писал, меня вызывали, хорошо, что мне доверяют и я на особом счету.

Нет, Шурик не поверил ни одному слову из рассказа отца. Он допил остывший в стакане чай, взял письмо и вернулся к себе в комнату. Через час у него начинался урок в музучилище. Выйдя на улицу, Шурик решил домой больше не возвращаться.

* * *

Он сидел на каменных ступеньках у самой Невы и сплевывал в воду набегавшую горькую слюну от папиросы. С непривычки первая затяжка всегда вызывала головокружение. Рядом мужичок с удочками терпеливо ловил бычков. Запах корюшки разносился по всей набережной, совсем рядом на открытом лотке торговали рыбой. Тетка в промокшем, скользком переднике сердито переругивалась с растущей очередью, наваливала в толстую серую бумагу серебристую рыбешку.

Шура никак не мог понять, почему в его новой семье он так одинок. У деда в Москве он тоже был один, окружен страхом, и ему так не хватало любви. А здесь страха нет, любви много, а радости у него никакой. В последнее время ему все больше казалось, что он никому не нужен и

что семья, особенно тетя Мила, им не дорожит. Письмо из Москвы его сразило окончательно.

Вот и решил он всех испытать.

Городские часы на соседнем углу показывали шесть часов вечера. «Нужно вернуться домой после десяти. Пусть поволнуются». Он представил, как отец вызванивает своим знакомым офицерам, а тетя Мила пьет валерьянку. Сестра тоже всех своих друзей обзвонит. Может быть, и в Москву будут дозваниваться?

Ветер усилился, начался дождь, вода стала прибывать и уже заливала гранитные ступеньки. Шура поглубже натянул шерстяную шапку с помпоном и поднялся на набережную. Петляя и переходя мосты, заворачивая во дворы, греясь в парадных и телефонных будках, он добрел до их дома. Перешел на противоположную сторону и посмотрел на фасад. Было десять часов, на улице сумерки, а окна их квартиры все освещены.

Обычно тяжелые занавески задергивают после восьми вечера, а тут забыли. Отца наверняка еще нет, он в театре, а тетя Мила сегодня дома, на больничном, у нее ангина. Шурик улыбнулся, представил картину паники и суматохи в семье. «Ничего, пусть поволнуются. Им полезно».

Стал накрапывать дождик, и Шура скрылся под арку. Отсюда окна их не видны, только входная дверь с улицы. Он увидел, как подъехало такси, отец выскочил из него, пальто в руке наперевес, шарф тянется из кармана, видно, так спешил, что не успел толком одеться. Сколько прошло времени, Шура не знал, но из глубины двора к нему приблизился человек.

— Ты чего здесь стоишь? Я за тобой давно наблюдаю. Ждешь кого? — Вид у мужика был странный, возраста неопределенного, на голове потертая солдатская шапка-ушанка.

— Да так, жду приятеля… — неуверенно ответил Шура.

— Слушай, парень, составь мне компанию, давай выпьем. Согреемся, а то ведь совсем околеть можно. Ну не здесь, конечно… Идем, идем, тут внизу кочегарка, там тепло.

«А почему бы и нет, — подумал Шура, — погреюсь, а потом все-таки домой. А им полезно попереживать». В кочегарке было жарко и сумрачно. Одна тусклая лампочка болталась на длинной витой проволоке. Пахло горячей угольной пылью. Мужичонка достал из бушлата бутылку, поставил ее на железный столик, застланный клеенкой.

— Садись, гостем будешь, — указал он Шуре на кучу угля, покрытую старой мешковиной. В граненые стаканы потекла бурая жидкость. Шура одним глотком хватанул полстакана. Ничего подобного он не пил! Очень редко отец наливал ему красного вина или шампанского, да и то по праздникам. Тетя Мила оберегала его от крепких напитков, говорила гостям, что ему еще рано употреблять и что он должен укреплять свои нервы спортом, а не алкоголем.

Шура с утра ничего не ел, и последнее, что он помнил, будто тусклая лампочка в кочегарке перегорела. Он провалился в жаркую пустоту.

Сколько он проспал, было не понятно, и потому не сразу понял, где находится. Мужик исчез, лампочка по-прежнему тускло освещала кочегарку. В соседнем отсеке кто-то лопатой загребал уголь и с шумом кидал в печь. Шура пошарил в темноте и нашел свою кожаную папочку, с ней он ходил на занятия музыки. Он вышел во двор. Ему очень хотелось есть.

Раннее ленинградское утро встречало его ветром и солнцем. Люди спешили на работу.

Совершенно естественно он перешел дорогу, вошел в парадное, поднялся на свой этаж и чуть не перевернул цинковое ведро с помойными отбросами. Ключи он оставил вчера в большой комнате на столе. Позвонил два раза, так обычно у них звонили все свои. Дверь сразу открыла тетя Мила.

Она, видно, проплакала всю ночь, потому что лицо было опухшее, глаза красные. Но жива.

— Отец дома, у себя в кабинете, работает, — как-то смущенно пробормотала тетя Мила и поспешила в глубь квартиры. Шура прошмыгнул к себе в комнату.

## Катюха

Одежда его насквозь пропиталась шлачным запахом. Он сбросил с себя все, свалил в углу, прямо на голое тело надел тренировочный костюм, взял гитару и забился в угол топчана. Стал натренькивать. Что-то совершенно бессмысленное лезло ему в голову. Уставившись перед собой в одну точку, Шура с трудом пытался представить, что же ему теперь делать. Он понимал, что ничего не понимает! Шум от мыслей, скорее, напоминал заглушку «вражьих голосов», которые отец слушал на даче в Репино. Адские карусели в голове вращались все быстрее и быстрее, музыка все громче, громче, громче… и казалось, что кошмару нет конца. В последнее время он нашел способ снимать эти звуки, помогало только одно — выпить чего-нибудь покрепче.

Живот у Шуры поджимало от голода. И только он решил прошмыгнуть на кухню, как открылась дверь и на пороге возникла Катюша.

— Сердце у тебя каменное, и добра ты не понимаешь! Я давно за тобой замечаю, что ты себе на уме. Сидишь и на гитаре тренькаешь, а мы чуть с ума не сошли, родители весь город на ноги подняли… В Москву звонили, подумали, что ты к ним поехал. — Дверь за ней с треском захлопнулась.

Пустой желудок сводило, будто собаки кусали. Как быть? То ли самому идти к отцу и мачехе прощения просить, то ли выждать? В квартире стояла мертвая тишина. Так хотелось есть, что он не выдержал и тихонько приоткрыл дверь. Как вор, на цыпочках он пробрался к холодильнику на кухне, открыл тяжелую дверцу «Севера». В карманы спортивных штанов сунул кусок колбасы, бутылку кефира и запустил руку в кастрюлю с супом. Большой кусок холодной говядины, облепленный вареной картошкой, он запихнул целиком в рот. Скользкие жирные руки отер о себя, достал из хлебницы батон и бесшумно вернулся в свою комнату.

Никто с Шурой не разговаривал, проработок не делал.

Утром на кухонном столе он нашел приготовленный завтрак и деньги, рядом записка: «Для пропитания», без подписи, а почерк Кати.

Так в семье у Шуры началась другая жизнь, если с отцом пересекались — здоровались, Шура с надеждой в голосе, а отец сквозь зубы. Тетя Мила всегда в рот отцу смотрела, а тут совсем стушевалась. Катюха свой тон тоже сменила, шуточки оставила и на него, как сквозь стенку, смотрит. День за днем, неделя за неделей. Шура деньги экономил, покупал себе жрачку, хранил ее в сетке, вывешивал в форточке за окном (боялся, что их домашний кот сожрет). Он не знал, что нужно сказать отцу и мачехе. Чем дальше шло время, тем атмосфера в доме становилась тяжелее.

* * *

Шура своей единокровной сестры боялся и обожал ее. Внешне Катя была похожа на мать — не по возрасту высокая, худенькая, модно одетая, а характером в отцовскую породу. Он завидовал ее веселой общительности, легкости ума. В свои шестнадцать лет она выглядела старше и пользовалась успехом не только у сверстников, но и у «стариков». Было в ней что-то огненное. Он ей как-то со злобой сказал: «Подожди, скоро выльют на тебя ведро воды и погасят твой костерчик». Шурик надежно хранил один секрет, он за Катюхой много и часто подглядывал.

От этого он влюблялся в нее еще больше. Ревновал ко всем. Когда звонил телефон, он старался схватить первым трубку и, если слышал: «Позовите Катю», отвечал: «Катя ушла в кино с...», ляпал наобум имя, лишь бы отфутболить поклонника, это помогало, но ненадолго.

Был у отца любимый ученик. В этом году он готовил выпускной спектакль в институте. Приходил почти через день репетировать. Катюша им брезгала, и сердце ее замирало от страха, когда они оставались наедине в квартире (она сама Шурику об этом говорила). Началось с того, что ученик должен был разучить танго для своего спектакля и отец для тренировки предложил ему Катюшу. Отец сидит иногда в комнате, иногда отсутствует, пластинка крутится, музыка льется, они танцуют, ученик реплики разучивает, входит в образ, а она посмеивается над ним. И вдруг как оттолкнет его от себя да закричит: «Фу, какой ты противный! Весь липкий, да мелко дрожишь, не смей ко мне прикасаться!» И убежала к себе в комнату. Шурик все это наблюдал из своего угла. Студент побледнел, чуть в обморок не упал. С тех пор Катюха избегала его и, когда он приходил репетировать, старалась из квартиры исчезать. А студент стал сходить по ней с ума, под окнами дежурил, звонил по телефону, молчал и сопел в трубку.

Однажды Шура издалека его заметил на улице. Снег мокрый шел, народ после работы серой толпой валил из метро, студент с шарфом до глаз, челка до бровей, дубленка солдатская с поднятым воротником, выслеживает жертву, а она перед ним в толпе, худенькая, немолодая женщина. Он ее настиг, под ручку взял, и та размякла. Шура успел заметить, что парень шарфом вязаным большой фингал под глазом маскирует.

Катя не была легкомысленной девушкой, но так себя свободно держала, что некоторым приходило в голову ее осуждать. Она много читала, ее тянуло к взрослым разговорам, допоздна оставалась с друзьями родителей, вслушиваясь в их заумные беседы. Отец обожал ее — она обожала его! Он гордился ей — она гордилась им! Шурика обижало, что она относится к нему несерьезно, поучает его, а он ведь старший брат. Шура ее однажды оборвал и брякнул: «Яйца курицу не учат», это он от деда вспомнил. Катя со смеху чуть не умерла.

Вот и решил он однажды ее проучить, чтобы не слишком зазнавалась.

Случайно Шурик узнал, что спецшкола Кати собирается устроить субботник в той ШРМ, где он учился. Он с ребятами из «рабочей молодежи» до сих пор встречался, бывало, они его в свои компании звали, он им на гитаре блатные песни пел, курили, выпивали, девчонок простых лапали, они от Шуры млели, знали, что его отец — знаменитый артист.

Договорился он со своими приятелями, как нужно Катю напугать.

Приехали умники из спецшколы на субботник в ШРМ строительный мусор после ремонта убирать. Должны были они его с одного места в другое таскать и сваливать на пустыре у заброшенных бараков. Выследили Шурины дружки Катюху, и когда она с подружкой мусор на носилки навалила да его к баракам притащила, они тут как тут. Человек шесть, с шутками девочек окружили; они сначала решили, что с ними шалят и заигрывают, стали отшучиваться, а те к баракам их оттесняют, посвистывают, похохатывают. Катюха с подружкой в барак

побежали, думали, что там спасение, может, люди есть. А там никого, пустые стены, выбитые окна. Парни стали их по этажам гонять, подружке дали убежать, она в слезах кинулась за помощью. Катя случайно в какую-то комнату влетела и дверь за собой успела закрыть, тихонечко присела на корточки, к стенке прижалась, замерла. Но не прошло и пяти минут, как дверь ногой выбили. Окружили ее.

— …Какой у тебя розовый плащик хорошенький! Это где же мы такой нашли? — И руками хвать за пуговицы. Двое из них сзади уселись на подоконнике, что-то на пальцах покручивают, похоже на веревку, один на стреме стоит, а трое совсем близко от нее. Дух от них несвежий, глаза страшные — Катя эти лица на всю жизнь запомнила.

И тут Шура входит.

— Ребята, да вы что? Это же моя сестра!

Она к нему метнулась, сначала обрадовалась, а потом ее, как током, прошибло, и она кубарем с лестницы скатилась да по пустырю бежать.

Дома Катя об этом ничего не рассказала, только стала с тех пор свою дверь на ключ запирать.

## Переживания

Странно, но все чаще Шуре казалось, что он живет не своей жизнью. В Москве он был один, а в семье отца он чувствовал себя птицей в золотой клетке. Ему хотелось разговаривать, как Катя, быть начитанным и умным, как ученики отца, уважаемым и знаменитым, как отец, и чтобы его боялись, как деда. Но ничего не получалось, собственных мыслей не рождалось, и он, вроде попугая, повторял услышанное. Его все больше тянуло к старым дружкам. Они его ценили, с ними было просто, без зауми.

Через две недели у него начинались зачеты и экзамены в музучилище. Если он провалит сессию, то маячила армия. Он настолько все запустил, что даже авторитет бабки-профессорши был не в силах ему помочь. Обстановка в семье давила пудовым прессом, и никакого выхода из нее Шура не видел.

В этот день он сбежал с уроков и брел по Невскому. Солнечная сторона проспекта была запружена толпой. Июньское солнце припекало, отчего народ разомлел, словно весенние мухи. Все скамейки перед Казанским собором были заняты. Парни поскидывали с себя свитера, девушки подставляли бледные личики под витаминные лучи. В такие редкие дни у всех на душе возникает надежда на счастливое будущее. Шура поднял глаза, посмотрел в чистоголубое ленинградское небо, прищурился; солнце его так ослепило, что он всем телом налетел на человека.

— Шурка, привет! Давно тебя не видел! — Перед ним стоял отцовский любимчик. — Слушай, как хорошо, что я тебя встретил. Приходи ко мне завтра, праздную отвальную, меня распределили в Горьковский театр. Ну да это, надеюсь, ненадолго. В такой дыре я сидеть не намерен, твой отец обещал меня к себе в театр перетащить. — Студент выглядел возмужавшим и самоуверенным. Шура обещал прийти на вечеринку с гитарой.

На следующий день, в воскресенье, он проснулся поздно. В квартире слышались возня, шум, смех отца, кто-то пробежался по коридору, и Катин возглас эхом на лестничной клетке: «Папуля, ты, когда прилетишь, обязательно нам с мамой позвони. А то мы волноваться будем!» Входная дверь захлопнулась. Отец, видимо, улетел на гастроли.

Шура попытался вникнуть в тетрадки, почитал списанные конспекты лекций, в понедельник он должен сдавать теорию музыки. Часам к семи вечера он решил, что пора идти к студенту. У него оставалось три рубля, он зашел в гастроном на углу и купил бутылку «Гамзы». Студент жил на Петроградской стороне, недалеко от Зоопарка. Шура легко нашел дом, поднялся по широкой заплеванной лестнице на второй этаж. Звонков на двери было несколько, фамилий под ними в темноте не разобрать, он нажал наугад, и ему в ту же секунду открыли. Старушка видно «дежурила» за дверью, проверяла. Коммуналка запахами и убранством ничем не отличалась от тысяч других ленинградских квартир. Из глубины коридора слышались молодые голоса — народ уже гудел! Дверь студента была полуоткрыта, в комнате было так накурено, что Шуриного появления никто сначала не заметил. Человек двадцать разнополых существ пили, жевали, танцевали, хохотали и о чем-то спорили.

— Шурка, давай, проходи, не стесняйся, пролезай за стол, да смотри на колени девушек не упади. — Студент был возбужден и уже сильно навеселе. Шура с трудом протиснулся по краю стола, жаркие тела раздвинулись, и он шлепнулся в мягкое логово диванчика.

— Вот, друзья! Это сын моего профессора, — старался всех перекричать студент, — он будущая эстрадная знаменитость! Он нам сейчас споет!

«Давай, давай! Спой нам Высоцкого или романс какой!», — просили все, и отказать он не мог, да и не хотел, для того и гитару прихватил.

В тарелку ему что-то навалили, в стакан «штрафную» водки плеснули, он это все с маху хватанул и запел.

Комнату, разделенную пополам ситцевой шторкой и огромным шкафом, студент снимал на пару с однокурсником. Потолки — за четыре метра, окно огромное, обои засаленные, на них бородатый Хемингуэй на кнопках, через всю комнату ряды бельевых веревок, сейчас на них только прищепки торчат. Обстановка убогая, но скрашивалась она веселой компанией и чувством, что пройдет несколько дней и эта комната будет для студента ломтем отрезанным, а впереди маяком брезжила блестящая актерская карьера. Шуру общее волнение захватило, и ему самому стало казаться, что он один из этих счастливчиков. Вокруг яростно спорили о «поиске и построении образа», целовались, танцевали под магнитофон, кто-то скрылся за шкафом. На пространстве в двадцать пять метров бурная жизнь била ключом.

— Надька, моя Надежда-а-а!.. — по-козлиному пропел студент. — Ты где-е-е?!. Иди сюда-а-а!..

Ситцевая занавеска раздвинулась, и Шура обомлел: в центре комнаты стояла блондинка — это была «колдунья», та самая, которую когда-то провожал отец.

Девушка стала еще красивее, она производила впечатление, знала об этом. За ее спиной, в тени шкафа маячил какой-то парень. «Колдунью» втиснули рядом с Шурой, она его не узнала, взяла сигарету и закурила. Вид у нее был безразличный, даже скучающий.

— Надюха, ты нам должна Цветаеву почитать, — заплетающимся языком потребовал студент. На радостях и от адской смеси всех напитков он настолько окосел, что почти лежал на столе. Колдунья молча достала из сумочки пачку потертой бумаги, огарок свечи, сунула его в пустой стакан, электричество сразу вырубили. Сигарета словно прилипла к ее длинным наманикюренным пальцам.

— Слушайте, слушайте, все внимание! — слышались вокруг возбужденные голоса.

Надя перебрала листочки «самиздата» (это слово Шура знал), выпрямилась и преобразилась.

Голосом низким с хрипотцой она стала читать Марину. Шура сам не понял, в какой момент его рука потянулась к ее талии, потом скользнула выше, второй рукой он гладил ее животик. Она продолжала читать стихи упоенно, будто в экстазе, выражение лица отчужденное, кончики пальцев дрожат, пепел сигаретный вот-вот на колени упадет и колготки прожжет. Стало скучно, народ стал позевывать, кто-то уходил, студент окончательно выпал в осадок, и его унесли за шкаф.

Потом все произошло само собой. Свеча оплавилась, стихи закончились, Шура с «колдуньей» остались вдвоем. Сумерки комнаты и магнитофонный голос Нат Кин Кола сделали свое дело, Шурина рубашка взмокла от пота, а опытные руки девушки проделали с ним то, о чем он так давно мечтал, млел и подозревал.

* * *

Его кто-то давно пытался разбудить, тормошили, встряхивали. В комнате было темно. Шурина голова раскалывалась от боли, в пересохшем горле словно напильником скребли.

— Эй, парень, вставай. Пора уходить, — это был ее голос.

Они вышли на улицу, было три часа утра.

— Слушай, я живу на той стороне, а мосты уже разведены, — сказала Надя. — Что делать будем?

— Пойдем ко мне, — решительно сказал Шура.

— А твои предки возражать не будут? — позевывая, спросила «колдунья».

— Да у меня своя комната и ключ. Какое им дело, это их не касается.

Пешком по ночному городу через двадцать минут они уже были в конце Кировского проспекта. Вздыбленный мост пропускал по Неве баржи, справа Петропавловка, слева их «дворянское гнездо». Шура толкнул тяжелую дверь, но она оказалась запертой. Пришлось стучать, будить лифтершу, она, конечно, долго не открывала, в лицо им фонариком светила, потом узнала Шуру.

— А это кто? Посторонним ночью нельзя! — решительно заявила вахтерша.

— Да это моя двоюродная сестра, из Москвы сегодня приехала, — соврал Шурик.

Тетка что-то буркнула сердито, но спорить не стала, зашаркала к себе в будку под лестницу. Чтобы лязг лифта не будил соседей, они поднялись пешком на нужный этаж, Шура открыл дверь, они проскользнули к нему в комнату, не включая света, быстро разделись и утонули под одеялом.

Экзамен Шура проспал, будильник у него звонил, но Надя руку протянула и во сне его погасила. Шура ей напомнил их первую встречу и как она автограф у отца брала. Ее это совершенно не смутило, наоборот, она даже как-то загадочно хмыкнула. Надя была старше его на пять лет. Училась в Институте имени Герцена, но мечтала стать артисткой. После полудня в квартире воцарилась тишина, мачеха и Катя ушли. Шура с предосторожностями открыл свою дверь и выпустил девушку из квартиры.

Эта первая связь, любовь вызвала у Шуры чувство собачьего счастья, будто он стал

обладателем большой сахарной кости, затащил ее в конуру, стережет и с наслаждением ее обсасывает. В его голове стали прокручиваться всевозможные сценарии их будущего. Он видел себя в качестве мужа, защитника семьи, представлял лицо отца, когда он скажет, что Надя — его невеста. Шура впервые ощутил себя победителем.

В течение недели он тайно впускал Надю в квартиру и поздно ночью выпускал. Иногда они крепко засыпали, мосты разводили, метро уже не работало, и Надя оставалась у него до утра.

Наступили летние каникулы. Сестра закончила одиннадцатый класс спецшколы, переехала на дачу, где готовилась в Университет, театр перешел на летнее расписание, и отец, не заезжая с гастролей домой, сразу поехал к семье в Репино.

Шуру оставили одного.

Из шести переходных экзаменов он сдал только два. Пересдать ему их разрешили осенью, иначе грозило отчисление и армия на три года. Он достиг призывного возраста, отсрочку давали по большому блату; хоть отец и мечтал для него не о позорном стройбате, а об элитных частях, Шура понимал, что Надя три года его ждать не будет. Нужно было «закосить» армию, а как это сделать — его обещали научить дружки.

С появлением Надежды он все больше стал замечать, что за ним внимательно следят. Он не мог понять, кто, когда и где. Но он был уверен, что за ним ходят. Среди ночи он просыпался (будто кто его толкал), отодвигал штору у себя в комнате, брал дедовский бинокль и наблюдал за окнами напротив. Иногда ему казалось, что за входной дверью кто-то стоит, дышит. Он резко открывал дверь, но человек успевал исчезнуть. «Видимо, сосед по площадке, — думал Шура, — он видел нас с Надей, теперь завидует». А когда они выходили на улицу, часто оглядывался, узнавал в толпе лицо, одно и то же. Однажды, как в фильмах, Шура резко обернулся и схватил его за рубашку. Держал крепко, пытался кричать, но человек вывернулся и исчез, растворился. Кто эти люди, он не понимал и стал думать, что, вероятно, нашли дедовский пистолет или домработница проговорилась, а отцовские дружки из Большого дома теперь его выслеживают. Самое неприятное, что для этих людей не существовало замков. Он стал обращать внимание, что кто-то наведывается к нему в его отсутствие, роется в его вещах, по незначительным передвижениям мебели и предметам он замечал их посещения.

Шура был уверен, что дежурная лифтерша в доме все знает, и решил с ней поговорить. Как-то он постучался к ней в конторку под дверью. Мужской удушливый кашель курильщика выдал незнакомого человека. Он пулей взлетел на этаж выше и увидел сквозь пролет, как из будки-конторки появился мужик в валенках и военном бушлате. Его подозрения оправдались, они уже заменили тетку на своего человека. И еще одна мысль осенила его. Это проделки отца, он, конечно, знает об их любви с Надей, выслеживает через подставных лиц, хочет навредить и разлучить их.

В один из дней он решил больше никогда из квартиры не выходить.

Надя окончательно перебралась к нему.

Было в ней что-то таинственное для Шуры, иногда она выглядела, как застывший сфинкс. Сядет на кромке топчана, длинную ногу на ногу закинет, волосы прямые до плеч, сигарета в холодных пальцах мелко подрагивает, глаза смотрят в никуда, что-то шепчет, наверняка стихи повторяет. Иногда она приводила с собой подружек, а Шура вызванивал своих корешов, и они устраивали посиделки. Шурины друзья Наде не нравились, она ими брезгала и старалась с ними не разговаривать.

Их утро начиналось после обеда, день заканчивался далеко за полночь. Так проходили дни, и Шура стал расспрашивать Надю о ее прошлом. Она была не очень разговорчива, больше посмеивалась, а Шура хотел все о ней знать. О себе он ей все рассказал, ничего не утаил (кроме как о матери и о пистолете). Чем больше Надя молчала, тем больше у Шуры в голове рисовались картинки из ее прошлого. Когда она задерживалась, приходила на полчаса позже, он устраивал ей сцены ревности, щипал ее до синяков и требовал, чтобы она призналась, с кем встречается. Надя любила отмокать в ванной. Она относила туда телефон на длинном проводе, звонила, своим тихим голосом разговаривала с подругами, курила, смаковала рюмочку «клюковки», наводила марафет. Это тоже вызывало у Шуры ревность, и он требовал от нее отчетов и рассказов.

— Ты с моим отцом спала или нет? — этот вопрос повторялся все чаще, а Надя на него не отвечала.

Квартира постепенно превратилась в медвежье логово, пустые бутылки, объедки, грязная посуда на всех столах. Единственное живое существо, которое напоминало о семье, был огромный старый кот Филька. Зубы у него почти все выпали, ел он только протертую треску. Это был Катин кот, но ей сейчас было не до него, она готовилась к экзаменам, а мачеха боялась, что на даче, без присмотра, кот убежит. Вот и оставили они его на попечение Шуры. Расписали ему все на бумажке, приказали в случае чего звонить. Новая жизнь Шуры была привязана к другим мыслям, о протертой треске он не думал, и Филин жрал с утра до вечера остатки колбасы и селедки. Кот был счастлив, но в один прекрасный день от постоянного пережора закуской он стал загибаться. Живот у него раздулся, он громко орал, просил о помощи. Надя сидела над ним, гладила его за ушком и курила.

— Что делать будем? Ветеринара в августе нет, а на дачу звонить и рассказывать, что кот подыхает, я не могу. — Шура вспомнил, что однажды с котом уже была такая история, Катя накормила его печеночным паштетом, и у Фильки был запор. Они тогда вдвоем ставили ему клизму и кота спасли.

Шура пошарил в аптечке, нашел резиновую грушу, наполнил ее водой, кота положили на пол, и Надя обеими руками крепко захватила его лапки, чтобы не вырывался. Шура ввел предмет в задницу Филина. Кот страшно испугался, стал вырываться, дико кричать, живот его раздулся, как большой детский мячик, но Шура накрыл его голову подушкой, чтобы он не поранил Надю, и крепко прижал ее левой рукой. Вода в клизме кончилась, кот успокоился и затих.

— Вот увидишь, сейчас он помчится к себе на песок, просрется, и все будет хорошо, — со смехом сказал Шура. Надя разжала пальцы, лапки кота упали безжизненными тряпочками; скинули подушку с головы Филина… Выпученные глаза, открытый рот с вывалившимся язычком. Кот был мертв.

Шура этого не ожидал.

Звонить на дачу и рассказывать о случившемся он не мог. Как правдиво соврать — на ум не приходило. Надя предложила сказать, что кот сидел на подоконнике, смотрел на улицу (а это он любил), прилетела птичка, он ее лапкой хотел поймать и бац — свалился и разбился! Версия правдоподобная.

Надя мертвецов боялась, а таких тем более. Она побледнела и сказала, что у нее кружится голова, пошла в спальню родителей и прилегла на кровать. Шура запихнул тяжелое тело кота в наволочку от подушки, потом уложил его в большую коробку из-под отцовских английских штиблет. Картонка была нарядная, гладкая, и отец ее хранил, точно так же как и многие

другие импортные упаковки и этикетки от заграничных шмоток. «Красивый гробик для Фильки получился», — подумал Шура.

Просто выбросить кота на помойку Шура не решался, могли соседи из окон заметить, да и коробка слишком выделялась своей броскостью, дворник сразу захочет к себе такую вещицу заграбастать, а в ней «сюрприз». Шура усмехнулся, представил рожу их дворничихи. В землю кота зарыть лопаты не было, да и где копать? Он вспомнил, как дед ему рассказывал, что в войсковой части, где он служил, они котят в ведре топили. Но тут не котенок, а котяра, и решил Шура пойти с ним к Неве.

* * *

Он перешел Кировский проспект, мостик, и вот он уже у Петропавловки. Единственное место, где можно было это сделать, был пляж. Народу на нем много, августовская жара пригнала ленинградцев уже с утра к крепостной стене. Узкая полоса серого песка была утыкана окурками и покрыта толстым слоем шелухи от семечек. Бронзовые от загара тела мужиков прижимались к каменной кладке, среднего возраста дамочки лежали в застывших позах, стыдливо прикрывая причинные места легкими тряпочками. Молодежь группами каталась на лодках, отплывали подальше и бросались с борта в воду, фыркали, брызгались на девчонок водой, а те пронзительно визжали. Шура отошел в сторонку, раскрыл коробку, насыпал в нее побольше песка, доложил камень, веревкой перевязал и стал поджидать группку лодочников.

Ждать пришлось долго, наверное, прошло минут сорок пять, пока кто-то из них подгреб к берегу.

— Слушайте, ребята, у меня к вам просьба, не могли бы вы эту коробку подальше от берега в воду сбросить?

— А что у тебя там? Может, клад или мертвец? — смеялись ребята.

— Да, мертвец… но особенный. Я давно решил его так похоронить, его Матросом звали, а потому пусть он на дне Невы лежит. — Шура рассказал ребятам о «славной жизни боевого кота Матроса, о его старости и тихой смерти». Девочки притихли, мальчишки поверили, взяли коробку, отплыли к пляжным буйкам и забросили ее подальше. Кот мгновенно пошел ко дну.

Шура облегченно вздохнул, ребят поблагодарил, и они ему предложили пива выпить (вроде как поминки по Матросу). Он не стал отказываться.

Так долго он не выходил на улицу, что солнце и пиво его разморили, веселая пляжная болтовня доносилась уже как щебет птиц, слов не разобрать, на душе было легко. Он прилег на песок и заснул.

## Личные неприятности

Шура проснулся, оттого что замерз. Августовский жаркий день принес грозу с ветром. Ливень стеной обрушился на загорающих, народ в спешке покидал пляж, на ходу одеваясь, засовывая в сумки полотенца вперемешку со снедью. Шура взбежал по каменной лестнице и укрылся под навесом какого-то строения. Часы на Петропавловке пробили пять раз. Из дома он вышел почти в полдень. Шура не думал, что прошло так много времени. Как там Надя без него? Наверное, волнуется? Он выгреб мелочь из кармана брюк, нашел двушку, телефонная будк, к счастью, была свободна. Шура набрал домашний номер. Длинные гудки звучали безнадежно, никто трубку не брал. Он был уверен, что Надя дежурит перед домом, а теперь дождь загнал ее

в подъезд. Утопая по щиколотку в гигантских лужах, Шура добежал до дома.

Надя его не ждала ни в подъезде, ни на лестнице.

Старый лифт скрипел и еле тянул. Наконец-то! Их этаж, дверь. Шура привычным жестом сунул руку в задний карман брюк. Ключей не было.

Он так давно не выходил на улицу, что перестал пользоваться ключами и отдал их Наде. Шура несколько раз постучал в дверь, потом коротко позвонил (это был их условный пароль с Надей). Тишина за дверью. Он сел на коврик, облокотился спиной о дверь и стал ждать. В голову лезли разные мысли, но больше всего ему хотелось снять с себя мокрую одежду. И вдруг он услышал в квартире отдаленные звуки музыки, шаги, где-то хлопнула дверь — мурашки пробежали по затылку Шуры, Ну конечно, как он мог забыть, все его догадки и подозрения оправдались! Стоило ему только уйти и оставить Надю одну, как «они» проникли внутрь квартиры. Может быть, они связали его любимую, допрашивают ее, требуют, чтобы она призналась, где он. Шура вскочил и кулаками стал барабанить в дверь. Соседи по площадке давно уехали на дачи, весь дом был похож на вымерший муравейник, даже вахтер на лето закрывал свою будку.

— Надя, открой! Немедленно откройте мне дверь! Эй, кто там, бандиты, сволочи, я вам покажу, как издеваться надо мной! Если вы немедленно не откроете, я пойду в милицию! Я хозяин квартиры!!!

Он приложил ухо к замочной скважине и прислушался. Ему показалось, что кто-то шепчется у самой двери, потом странное шарканье, будто тяжелый тюк тащили по коридору в глубину квартиры, потом Шура расслышал шум воды, ванная была почти рядом с входной дверью. Он буквально врос в дверь.

И вдруг она неожиданно раскрылась, Шура потерял равновесие и всем телом повалился на человека. Тот схватил его за волосы и сильно вздернул кверху.

Перед ним стоял отец.

— Ах ты, мерзавец! Это кто хозяин квартиры?! Ты что себе позволяешь, последняя скотина! Лучше бы ты вообще на свет не родился… или я тебя не родил!!! — сбивался в ярости отец. — Сколько сил мы на тебя положили, сколько бессонных ночей тетя Мила провела, а ты, гад подколодный, чем платишь?! Бардак и хлев развел, ни работать, ни учиться не хочешь! Ну так я тебе покажу, как нужно жить и хлеб зарабатывать. Вон из моего дома, воо-о-он! — Отца била дрожь, и от сильного возбуждения все лицо его перекосило. Это не было театральной сценой, а скорее походило на страшный карикатурный реализм. Отец сейчас не играл короля Лира, он был самим собой, и, видно, то, что в нем копилось долгие месяцы, сейчас выплеснулось наружу.

Шура ничего не соображал, говорить он не мог, от шока онемел.

— Вот тебе, паскуда, ключи от комнаты у бабушки. Она тебя давно к себе ждет и прописку устроила, чтобы ты, бедняжка, не остался без площади, теперь ты сам себе хозяин и на мою помощь не рассчитывай. А теперь собери свои пожитки и проваливай.

Шура прошмыгнул к себе в комнату, понабросал в старый чемодан все подряд, вспомнил о рубашке и носках, они сушатся в ванной. Отца в коридоре не было, он гремел посудой на кухне. Шурик быстро проскользнул к ванной и открыл дверь.

В наполненной до краев водой ванне, в «бадусановой» пене лежала Надя.

Мокрой рукой она взяла сигарету, тлеющую в пепельнице, и глубоко затянулась. Неожиданным появлением Шуры она смущена не была, прищурилась (скорее, от дыма) и спокойно сказала: «Привет».

* * *

Вот уже три месяца, как Шура жил в квартире у бабки-профессорши, про себя он называл ее «бубу». Когда-то большая барская квартира со временем превратилась в коммунальную. По коридору она разделялась дверью, чтобы оградить соседей от звуков рояля и пения. Ученики к бабке шли постоянно, кто распевался, кто разучивал арии, в награду своему профессору они несли букеты цветов, коробки конфет, с юга привозили корзины свежих фруктов. Бабка осталась обладателем двух огромных комнат и маленькой «горницкой», примыкавшей к общей кухне. В эту темную, без окон комнатенку и был прописан Шурик. Дверь неплотно закрывалась на навесной крючок, так что все кухонные прелести борщей и каш, ругань и секреты соседей Шура познал на собственной шкуре.

«Профессор»(только так все величали бабку) внука своего жалела и уже давно сделала через знакомства в горисполкоме ему прописку. Так он стал обладателем десяти квадратных метров жилплощади. Комната напоминала длинный пенал, вдоль стены стояла раскладушка, колченогая этажерка и два раскладных стула. В стену Шура вбил много гвоздей, на них можно было вешать одежду. После роскошной квартиры отца это жилище напоминало тюремную камеру.

Бабка — «божий одуванчик» — была из старорежимных, поговаривали, что даже хороших кровей, но под воздействием известных обстоятельств она старалась о прошлом забыть, воспоминания ее всегда начинались словами «после революции», к началу этих исторических событий она побывала уже замужем и якобы развелась. Что стало с ее мужем, никто не знал. Отец Шурика выспрашивать мать боялся, о своих «благородных кровях» вспоминал только в кругу семьи, редко и полушутя. В профессорше тлели доброта и порядочность, она любила делать подарки, была кристально честна и аккуратно ходила на партсобрания в Консерваторию. Наверняка в детстве ее воспитывали в вере, может быть, она когда-то знала молитвы, но в новой стране, которая отбросила пережитки прошлого, слово «Бог» у нее подменилось на слово «совесть». Бабка была обладателем всевозможных народных, заслуженных и лауреатских званий, а еще она была окружена почетом и лизоблюдством на всех уровнях. От ее чопорной сухости и принципиальной честности многим становилось не по себе.

Последние тридцать лет (после исчезновения ее мужа) одиночество профессора разделяла одна из учениц. При каких обстоятельствах произошло это странное слияние двух женщин, никто не помнил. Клавдия Петровна была могучего телосложения старая дева. Ходили разговоры, что она из купчих и что в свое время доносила на свою семью. Отец Шурика ее ненавидел и ревновал к матери. А однажды в раздражении сказал: «Я уверен, что эта К. П. пишет отчеты в Большой дом не только на мать, но и на меня».

Профессор, ее ученики и Клавдия Петровна жили только одним — творчеством и служением искусству, говорили, что «самая большая награда для артиста — это умереть на сцене». Бабка своих учеников называла «духовными детьми» и часто повторяла, что «живет она ради них», отец свою мать к этим «детям» тоже ревновал, много раз предлагал ей переехать к ним в «дворянское гнездо», но она и слушать ничего не хотела.

Экзамены Шура кое-как пересдал, но страшная тень стройбата продолжала маячить на горизонте. Денег ему катастрофически не хватало, отец больше не давал, а те, что

подкидывала бабка, таяли со скоростью мороженого на солнце. Шуре приходилось подхалтуривать, кое-кто из его сокурсников подбрасывал ему концерты в клубах, он пел разные песенки под гитару, если нагоняли солдатиков — патриотическое, а когда сборные молодежные вечера, то исполнял цыганщину и романсы. За концерты платили мало, редко перепадала десятка, а все больше три да пять рублей. Голос у Шуры был приятный, музыкальность природная, он отрастил себе волосы, стал еще больше похож на отца, а когда его фамилию объявляли, то сразу все понимали, чей он сын. Но все это у Шуры вызывало скуку, и втайне он ждал других подмостков.

Однажды в его комнату постучала Клавдия Петровна: «Шура, тебя к телефону!» Ему звонили редко, да и неудобно это было — аппарат стоял в комнате у бабки, прямо на рояле, которая терпеть не могла, когда звонят посторонние.

Голос в трубке он узнал мгновенно. Это была Надя. Она просила встретиться.

С того знаменитого дня он ее не видел и ничего не хотел о ней знать. И вообще, многие воспоминания он из своей головы повычеркивал, будто не было в его жизни ни деда-«отца», ни Ланочки, о матери он тоже перестал думать.

Надя ждала его у выхода из метро «Горьковская». Она не изменилась, только волосы завязаны на затылке в «конский хвостик». Ей это шло, делало моложе.

— Шура, ты на меня не сердись, но у меня нет выхода, я долго думала, как тебе сказать… Все не решалась позвонить. Мне Катя твой телефон дала. Ты должен на мне жениться, иначе меня мать убьет. — Она перевела дыхание и села на скамейку. Шура от неожиданности не знал, что ей сказать. Он молчал. — Шурочка, миленький, я на пятом месяце, и это твой ребеночек.

Ему очень хотелось в это верить, и он поверил!

Он простил ее и сказал, что они поженятся и будут воспитывать их ребенка. Надя обещала, что познакомит Шуру со своей мамой, но потом переедет жить к нему, у нее нельзя, отчим запойный, а когда он нормальный, то выпиливает лобзиком разные штуки, лаком их покрывает, отчего сильный запах по всей комнате, у Нади голова болит, а соседи жалуются.

Она переехала к нему через несколько дней, потом «расписались» и зажили. Назвать это семейной жизнью было трудно. Надя часами валялась на стареньком матрасе, брошенном прямо на пол, читала, курила, иногда выходила на кухню и заваривала себе чай. Надя у К. П. вызывала отрицательные эмоции, бабка реагировала спокойнее.

— Чем же, моя хорошая, вы занимаетесь? Как представляете будущую жизнь? Ребенка ведь нужно воспитывать только своим примером, — пыталась читать мораль профессорша. Надя делалась серьезной, всхлипывала, пускала слезу, бабка ее жалела и совала ей пятерку.

Женитьба не принесла радостей, она доставляла беспокойство, и не только потому, что в душной десятиметровке было невыносимо сосуществовать вдвоем, а потому, что Надя была ко всему безучастна. Готовить она не умела, стирать не любила, грязное белье копила, отвозила к матери, та стирала, гладила, привозила им в бидонах суп и жаркое. Надя чаще стала жаловаться на здоровье, ее тошнило и постоянно тянуло на сладкое, в бабкином холодильнике скопилась куча недоеденных творожных сырков и пирожных.

Шура серьезно решил закончить музучилище и одновременно много давал трехрублевых концертов. Иногда были загородные поездки, и тогда он оставался там на несколько дней. Он, конечно, скучал без Нади, но эти халтуры стали отдушиной для него, он мог расслабиться,

вспомнить свое холостяцкое прошлое. Его приглашали в компании, где он опять окунался в любимую стихию надежды на настоящую славу, тяжесть семейных забот рассеивалась, как утренний туман. После первой опрокинутой стопки он еще больше нравился девушкам, а они ему.

Время бежало незаметно, скучно проскочил Новый год, однажды Надя предложила Шуре послушать, как ребенок бьет ножкой. Он приложил ухо к ее большому животу и действительно услышал стук и движение. Странно, но никакого волнения он не испытал. От беременности Надина меланхолия сменилась на слезливость, она часто и беспричинно ворчала, растолстела, красивое лицо покрылось пятнами, губы походили на две толстые оладьи. Шура ждал рождения ребенка со страхом. Все произошло неожиданно. Девочка родилась раньше положенного срока. Началась жизнь втроем.

Коляска заменяла кроватку. Ребенок вопил, не спал и требовал. Понять, чего он хочет, было трудно. У Шуры и Нади дни слились с ночами. С каждой неделей кошмар рос, как гора нестираных пеленок.

* * *

В квартире, разделенной по коридору массивной дверью, жило еще две семьи. Одну из комнат, светлую и довольно просторную, занимала армянская семья — отец, мать и сын. Мальчик был добрым и шустрым, до десяти лет развивался нормально, и многие говорили, что из него выйдет знаменитый шахматист, так как отец, по профессии бухгалтер, научил сына уже в три года складывать и умножать в уме трехзначные цифры. Но в десять лет с ребенком стали происходить совершенно непонятные явления, он мог часами оставаться неподвижным или бесконечно кружил по комнате, сосредоточенно смотря в пол. В школе его стали дразнить «дурачком», издевались, били, и учителя потребовали забрать мальчика из школы, потому что его успеваемость не соответствовала уровню программы. Родители обратились к врачам, но те только развели руками, прописали массажи и ножные ванны. Ничего не помогало. Наконец повезло, и один специалист-профессор, к которому их устроили по блату, поставил диагноз: мальчик родился от старых родителей, а может быть, отец в молодости перенес нехорошее заболевание, или это перешло по наследству от дедушки по материнской линии.

Мать уволилась с работы и сидела с ребенком. Бабка-профессорша, узнав от Клавдии Петровны о несчастье в армянской семье, решила им помочь и взяла это в свои руки. Она убедила родителей, что если у мальчика были способности к математике, то наверняка у него есть музыкальный слух, а потому он свернет горы. Три раза в неделю мать надевала сыну чистую белую рубашку, повязывала себе голову черным платком и робко стучалась в «святая святых». Бабка усаживала мать в сторонку, а мальчик целых полчаса стучал по клавишам ноты и гаммы. «Нет ничего непреодолимого на свете, природу нужно побеждать, и мы это сделаем!» — уверенно говорила профессорша. Но шли месяцы, а лысенковского чуда не происходило.

Вторая семья, жившая прямо за стеной бабкиной спальни, была многочисленна. Кроме уже имевшихся отца, матери и взрослого сына Вани, не так давно там родились двойняшки. Между собой они говорили по-украински, с квартиросъемщиками были немногословны, что бесило Клавдию Петровну, а каждое воскресенье бабку будило их хоровое пение. Часов в семь утра, под включенный приемник, стройным многоголосием они затягивали «божественную музыку». Профессор с К. П. стучали в стену и кричали: «Не положено, жалобу напишем, прекратить издевательство!» Они действительно писали письма в ЖЭК, но, странным образом, Господь был на стороне хохлов, и их не трогали. Сыну Ване было уже пятнадцать лет. Вытянувшийся не по годам, бледный, молчаливый, он производил впечатление больного. Клавдия Петровна посылала на Ваню «сигналы» о том, что у них в квартире живет туберкулезник и все от него

заразятся, особенно армянский мальчик, который и так слаб здоровьем.

И вправду, было что-то в Ване кроткое, не от «жильца на этом свете». С Шурой у них завязалась дружба. Ваня давал ему ловить по «Спидоле» иностранный джаз, а иногда они вместе крутили настройку приемника, и тогда, на коротких волнах, возникала «божественная музыка» «Голоса Ватикана».

— Вы кто такие? Откуда приехали? — интересовался Шура.

Ванечка рассказывал о своем карпатском селе, как цветут яблони весной, какие у них горы, реки, овцы и свобода.

— Так чего вы сюда приехали, коли там хорошо?

Ваня только улыбался в ответ и грустно молчал. Однажды он постучался в дверь Шуриной каморки. От всей семьи он принес подарки молодой семье: вышитые распашонки, кучу ношеных вещей близнецов и много яблок.

— Это от всех нас. Наде нужно витамины есть, тогда молоко будет, — застенчивая улыбка осветила бледное лицо Ванечки. Он робко заглянул в коляску: — Хотите, мамка вашу дивчину к нам в комнату будет забирать? Она ведь еще двойняшек кормит, и на вашу молока хватит…

Вот когда Шура по настоящему стал думать о том, что такое счастье.

Первым счастьем для Шуры была любовь к матери и одновременно к Ланочке, он был счастлив рядом с московской бабулей, а самое большое и потрясающее счастье было от встречи с отцом. Ну, еще он был счастлив с Надей (как это было давно!). Все это прошло, и теперь он часто думал: «Где это Счастье? Как его найти?» Отец и бабка ему повторяли, что «каждый человек — кузнец своего счастья» и что «на Бога надейся, а сам не плошай». Его сестра Катя советы семейные хорошо усвоила и была счастлива. Отец говорил, что счастье приносит слава, а бабка и К. П. твердили, что счастье — в упорном труде. Он видел, что мать армянского мальчика тоже была счастлива, хотя Шура не понимал отчего. Она часто плакала, что-то шептала про себя. Вот и Ванечка ему говорит, что он счастливый. Хотя для Шуры это тоже казалось странным, жили украинцы в страхе и бедности, а от какого-то счастья грелись. Бабка и К. П. много говорили о «счастливом будущем», что оно «вот-вот наступит для всех», но Шура не понимал, как это произойдет. Он боялся, что Счастье обойдет его стороной.

Так прошел год, и наступающий не сулил ничего хорошего (К. П. сказала, что он високосный, а потому будет тяжелым). Концерты и елки для детей были в полном разгаре. Кто-то предложил Шуре роль Деда Мороза, он мог петь под гитару всякие штуки, дарить подарки, работа не пыльная, платили чуть больше. Он приехал в Клуб имени Газа, нацепил красный нос на резинке, ватную бороду с усами, халат со звездами достался с чужого плеча, пришлось подвернуть его за кушак, иначе ноги путались в длинных полах.

— А вот и твоя Снегурка! — воскликнул баянист.

Перед ним стояла среднего роста девушка в синей шапочке и хорошеньком тулупчике. На ее милом и аккуратно загримированном лице играла улыбка, отчего на щеках появлялись симпатичные ямочки. Девушка была словно создана на роль Снегурочки, настолько в ней все дышало свежестью.

— Меня Мира зовут, — как бы стесняясь, сказала она. — А я о вас знаю, мне мои коллеги в Ленконцерте рассказывали, что вы хорошо поете. Наверное, после окончания училища вас в

Театр музкомедии пригласят? — Ее осведомленность свалилась на него как снег на голову. Снегурочка присела на мешок Деда Мороза и посмотрела на Шуру восторженными глазами. Ах как он любил эту одержимость поклонниц! Сколько раз он завидовал своему отцу. Он и не знал, что его слава достигла границ Ленконцерта! Более того, значит, уже ходят разговоры о его будущем распределении в театр!

— Откуда вам известно о Музкомедии? — удивился Шура.

— Ну знаете, в нашем театральном мирке иголку в сене невозможно утаить, а такой талант, как вы, — тем более, у всех на виду, — улыбаясь ответила Мира.

Потом они пошли на сцену, рассказывали сказку, танцевали под баян, Шура пел под гитару из «Бременских музыкантов», Крокодила Гену, дети требовали Чебурашку. Снегурочка взяла волшебную палочку и абсолютно счастливым голосом всем объявила о счастье в Новом году! Дед Мороз раздал подарки, дети разрывали прозрачные пакеты, сорили корками от мандаринов, запихивали в рот «Коровку». Кому-то досталось два подарка, на счастливчика смотрели с завистью. Утренник закончился, и родители торопились развезти детей по домам.

— Шурочка, у меня машина, хотите я вас подброшу? — предложила Мира. Они вышли на улицу и погрузились в предновогоднюю суету. Шура назвал адрес.

— Знаете, а вы так на своего отца похожи, я даже подумала, что это он. Я его поклонница, все спектакли, где он играет, знаю. Правда, сама я училась в Москве, а теперь к своим родителям перебралась. Они без меня скучали. — Мира лихо вела «Жигули», бесстрашно по-мужски обгоняя грузовики, видно, была водителем со стажем. Вот и приехали.

— А мы будем с вами еще три утренника вместе играть. Вообще-то я заменяю подругу, у нее ангина, вот она меня и попросила. Хотите, я заеду за вами в следующее воскресенье?

Он совершенно не возражал и сказал, что через неделю будет ждать ее в девять часов перед домом.

В следующее воскресенье она позвала его в кафе «Север». Шуре было неудобно, денег у него не было. Но она будто угадала его мысли и сказала: «Я тебя угощаю. Ведь я Снегурочка, и у меня есть волшебная палочка». Потом наступило их последнее воскресенье, и она пригласила его к себе домой.

* * *

Мира жила на Васильевском острове. Дверь им открыла моложавая, с сильной проседью женщина, из боковой комнаты вышел сутулый мужчина.

— Это мои родители, — сказала Мира. — Их можно по именам звать, отчества ты все равно не запомнишь. А теперь снимай сапоги, я тебе тапочки принесу, мой руки и к столу.

Мира провела Шуру в ванную. Он никогда не видел такого кафеля, сама ванна и рукомойник были синего цвета, полотенчики и коврик на полу были тоже синего цвета, с потолка на леске свисали пластиковые золотые рыбки.

— Что, нравится? — улыбнулась Мира, заметив растерянность Шуры. — Это у нас отец старается, он завскладом в речном пароходстве работает, все импортное достает, мама это обожает.

Большая светлая комната утопала в коврах и хрустальных горках, всюду живые цветы. Большой стол был накрыт белоснежной скатертью и ломился от яств.

— У Мирочки сегодня день рождения, присаживайтесь, молодой человек. Она нам о вас рассказывала, а вашего папеньку мы в кино много раз видели. Сейчас придет несколько близких родственников, и мы приступим. — На столе появилось что-то фаршированное, запеченное и заливное. Хозяйка ушла в кухню и тут же вернулась с тарелкой тонко нарезанной копченой колбасы. Ничего подобного Шура никогда не видел. Когда-то в далеком прошлом деду выдавали на работе «спецпакеты», но Шура уже забыл их вкус. — Я ведь директором гастронома работаю, так у нас всегда к праздникам деликатесы завозят, а я запасливая, как белка. Семью нужно баловать.

Прошло минут пятнадцать, стали собираться гости. В основном это были родственники (так сказала Мира), все приносили букеты цветов, коробки шоколадных конфет. За столом Шуру посадили рядом с именинницей, она смеялась, развлекала его болтовней, подкладывала на тарелку вкусненького. Выпили шампанского за наступающий Новый год — и за Мирочку!

К разговорам за столом Шура мало прислушивался, но в основном все обращались за советами к отцу Миры: как нужно менять меньшую площадь на большую, сколько доплачивать и кому, как достать путевку в санаторий и у кого купить румынский мебельный гарнитур. Говорили гости на каком-то странном языке, то ли деловом, а может быть, иностранном. Шура разговоров не понимал, с трудом улавливал новый для него смысл, но в окружении этих милых людей от выпитого и съеденного Шуре стало тепло и уютно. Более того, ему впервые померещилось, что с такими людьми он был бы как за каменной стеной или, на худой конец, как у Христа за пазухой.

## На пороге счастья

Приближались майские праздники, народ, как обычно, готовился к длинным выходным, погода обещала продержаться теплой, многие собирались провести эти дни за городом. Несмотря на рабочий день, граждане уже сновали по магазинам, занимали длинные очереди за дефицитом.

Шура стоял перед большим зеркалом в ДЛТ[2] и примерял шляпу. Это была его первая шляпа в жизни. Молоденькая продавщица всячески с ним кокетничала, предлагала ему то серую маленькую, то в клеточку с перышком, то фетровую темно-синего цвета.

Он давно не видел своего отражения во весь рост и с удивлением обнаружил, что недурен собой. Высокий, худощавый, темные волосы пострижены «под горшок» (как у Битлов), нежные щеки бритвы не знают, в карих глазах не столько ум светится, сколько непредсказуемое хулиганство, а на тонких губах играет вечная ухмылка. Он себе таким нравился.

Одно плохо: в зеркале он увидел, как ужасно выглядит его одежда. Когда-то модная импортная куртка, подарок отца, обтрепалась, джинсы засалены, давно не стираны, а об обуви вообще лучше не говорить. Но даже не смотря на это, он привлекал к себе женские взгляды, особенно когда нежно перебирал гитарные струны. Бабы его жалели и от его песен балдели. Дар перевоплощения у Шуры был в зачаточном виде, большого актерского таланта не наблюдалось, работать он не любил, выезжал на способностях, а амбиции подогревал желанием преуспеть. По характеру он был человеком нетерпеливым, от трудностей ускользал. Сколько раз жизнь подносила ему неприятные сюрпризы, но хитрость и изворотливость не раз его спасали (он слышал, что «хитрость — это второй ум»). Шура был уверен, что наступит день, когда он переплюнет отца, докажет ему и всем им, как они ошибались, он сумеет схватить птицу Счастья за хвост и не выпустит ее из рук. Уж тогда он ни перед чем не остановится и

жалеть их не будет! От этих мыслей на душе у Шуры потеплело, он ухмыльнулся и надвинул шляпу почти до носа.

Мира позвала его на свадьбу к родственнику, а потому Шура должен купить черную шляпу. Мира хотела обязательно с лентой и широкими полями, но нужного размера не оказалось, была темно-синяя, она шла ему, а с гитарой через плечо он выглядел почти итальянцем. Шура заплатил в кассе, спустился по центральной лестнице ДЛТ на первый этаж, протиснулся через галдящую очередь, атакующую обувной отдел, и направился к остановке троллейбуса. Вчера в училище ему объявили, что вероятнее всего он получит распределение в Мюзик-холл. Это было неожиданностью, лучшего начала карьеры он не представлял.

* * *

Мира вошла в Шурину жизнь незаметно, она, как теплый пушистый котенок, легла ему на грудь и замурлыкала. После дня рождения они стали встречаться регулярно, он часто обедал или ужинал в ее семье, родители расспрашивали Шуру об его знаменитом отце, бабке-профессорше, они явно гордились, что такой молодой человек дружит с их дочерью. У Шуры язык не поворачивался сказать им, что отец выгнал его из дома, что живет он в каморке у бабки и что у него семья. Но долго скрывать не пришлось, совсем скоро он во всем признался Мире.

— Только не рассказывай об этом своим родителям, — попросил Шура.

— Нет, так дело не пойдет. Ты должен с отцом помириться. Я беру вашу встречу на себя! — Решительность Миры обескуражила Шурика. Но Мирочка так любила своих родных, их традиции, что Шура вполне понимал ее благородное желание всех примирить.

Она жалела его, он это видел.

Она любила его, он это чувствовал.

Ее родители приняли его как родного сына. Баловали, подкармливали вкусненьким, делали подарки. Постепенно эти люди стали своими. Шуру немного удивляло, что о Наде и его дочери Мира никогда не задавала ни одного вопроса. «Это от застенчивости, она не хочет меня огорчать лишними расспросами», — думал Шура. Он не подозревал, что у Миры был властный характер и она была болезненно ревнива.

Закулисный театральный бульон варился по классическому рецепту. Довольно быстро в Ленинграде стало известно, что у Миры с Шуриком роман, о его ссоре с отцом и мачехой было известно давно, но что его новая подруга «Снегурочка» была не так наивна как, казалось на первый взгляд, знали все, кроме Шурика. За Мирой тянулась слава искательницы приключений, всеми средствами она стремилась захороводить ценного мужика, а не так давно еле унесла ноги из Москвы. Один из очередных любовников заподозрил ее в краже «брюликов».

Мира была сама не своя, когда речь шла о драгоценностях, а семейные «цацки» достались ее любовнику в наследство от первой жены. Он Мире хвастался, как здорово он жену обманул, сделал подмену «шила на мыло». В начале их совместной жизни и планов на будущее любовник разрешал Мире эти «цацки» носить. Она надевала длинное бархатное платье с глубоким декольте — камеи на груди, камеи в ушах, камеи на пальцах, они ехали кутить в «Арагви» или ЦДЛ, где Мира потрясала воображение завсегдатаев. Побрякушек было много, к некоторым она особенно «прилепилась», браслеты и цепочки даже во время сна не снимала. Скандал разразился, после того как Мира потребовала от своего любовника «оформить» их

отношения. Он отказался, сказал, что ценит свободу и что штамп в паспорте ничего не решает. Тогда Мира стала шантажировать его очередной беременностью и определенными секретами из личной жизни, которые могут плохо отразиться на его карьере. Мужик оказался крепким орешком и тертым калачом (да к тому же кавказец) и вышвырнул Мирочку из дома. Спасаясь от гнева, она успела прихватить кое-какие «цацки»! Миру прикрыли родители, они каким-то образом откупились от угроз любовника, задобрили его, подмазали, подсластили…

Но кого могли удивить в то время подобные страсти? Свальный грех был нормой и неотъемлемой частью «бохэмы», уже все переспали со всеми, пять раз развелись, переженились, бросили своих детей, пьянствовали и о завтрашнем дне не думали. Семья Миры хотела только одного — смыть позор с их дочери через брак с благородным человеком из хорошей семьи!

О столь далеко идущих планах Шура даже не догадывался.

* * *

В троллейбус его буквально внесли на руках, был конец рабочего дня. Шура мог бы дойти пешком до Дома архитекторов, но поленился. Пришлось придерживать шляпу рукой, а то снесли бы вместе с головой. Народ напирал, ругался, что-то острое впилось в его ногу, пьяный мужик густо выдыхал смесь перегара с закуской в лицо толстой гражданке. Шурик с опаской поглядывал на эту сцену и, решительно работая локтями, пробрался к выходу. Он слез у «Астории», перешел Исаакиевскую площадь и не торопясь дошел до «Архитекторов».

Сегодня день был во всем удачный, Мира сказала прийти в ресторан к восьми и сказала, что приготовила ему сюрприз.

Нарядный и просторный зал был еще полупустым, серьезные клиенты набивались после девяти часов, а пока за отдельными столами сидели парочки или группки творческих работников, курили, трепались, пропускали рюмочку. Скучающие официанты, устроившись в уголке, потягивали газировку и перешучивались со знакомыми постояльцами. Шура пришел заранее, Миры в зале не видно. Он сел за свободный столик.

— Заказывать будете? — лениво спросил официант. Его наметанный глаз сразу оценил Шурика. Внешний вид парня говорил сам за себя, надеяться на дорогой ужин и чаевые не приходилось.

— Нет, я человека жду. Как придет, так сразу закажем, а пока одно пиво.

Официант ковырнул в зубах спичкой и усталой походкой отошел к стенке.

Бутылка пива не была еще допита, как Шура увидел в зеркальном отражении перед собой элегантнейшую парочку. Он высокий, волосы артистически зачесаны, модная бежевая, свободного покроя куртка, держит под ручку женщину, несколько наклонясь к ее уху, что-то шепчет. Она на каблуках «шпилька», платье длинное с глубоким декольте, вокруг шеи золото, в ушах серьги, громко хохочет, крепко прижимается локтем к его бедру и кокетничает. Это Мира и его отец!

Глаза их встретились, смешливое выражение ее лица не изменилось, они, как старые знакомые, расселись вокруг Шуры. Отец отменно играл роль, на ходу досказывал анекдот, дружески приветствовал официантов и как ни в чем не бывало крепко обнял Шуру.

— Старик, я так рад за тебя. Поздравляю! — Отца распирал телячий восторг, он искренне был взволнован (хотя даже тетя Мила не всегда была уверена в его искренности).

— Шурочка, я все рассказала твоему папочке, он целиком на нашей стороне. Теперь у нас мир во всем мире, и мы будем вместе. — Мира захлебывалась в словах, она была возбуждена и горда тем, что ей удалось все так ловко устроить. — Мой дорогой, твои родители не возражают, и ты прямо сегодня переедешь к нам жить.

Официант узнал отца, безразличная наглость с его лица слетела, он сделал знак своему товарищу, и они ловко стали обслуживать их столик. Пока отец заказывал ужин, Мира выдала Шурику: «Твой отец — прелесть, он такой умный, простой, я к нему подошла после спектакля, ждала у актерского входа. Он мне дал автограф, а я ему сказала, что дружу с тобой и беспокоюсь, а потому хочу поговорить с ним, посоветоваться… Рассказала ему о моей семье. Он был счастлив узнать, что мы не какие-то босяки, а приличные люди и что ты будешь у нас как за каменной стеной. Я ему сказала, что мы любим друг друга, а что твоя жена — плохая хозяйка и мать, она тебя не кормит, не поит, не стирает, а только Цветаеву читает, да марафет на морде своей наводит. А твой отец сказал, что она просто б…. и что ты, несчастный, ей поверил. А еще он сказал, что всегда мечтал для тебя о такой жене, как я, а о такой семье, как мои родители, даже не мечтал. Представляешь, он с ними хочет познакомиться. Поэтому я решила, что с сегодняшнего дня ты будешь жить у нас. Я тебя забираю! Даже не возражай!»

Шура от этого потока откровения совершенно обалдел.

Отец прислушивался к женскому монологу и мурлыкал, как сытый кот. Он был польщен вниманием столь богатой и шикарной девушки, как Мира, поднял бокал и торжественно произнес тост, что на пути их счастья всячески будет им содействовать. Шуре после выпитых подряд трех рюмок водки (на кружку пива) и шампанского стало на душе легко и свободно. Он вспомнил красивое лицо Нади, ее меланхолическую улыбку, плач ребенка, убогость комнатенки, вредную бабку, К. П., трехрублевые концерты в клубах, и ему очень захотелось от всего этого убежать.

Он Надю, наверное, любил, но счастье Миры было в тысячу раз приятнее. Выбор сделал не он, судьба так распорядилась.

А что может быть выше судьбы?

Ужин затянулся далеко за полночь. Отец был в ударе, рассказывал смешные истории, подливал Мире шампанского, делал ей комплименты и целовал ручку. Она совершенно была очарована, в меру кокетничала с ним и к концу вечера сумела произвести неотразимое впечатление. Для отца она не была загадкой, он видел таких молодых начинающих актрис, ценил их энергию и уважение к старшим. Мира поведала ему об учебе в Москве, о семье и о своей мечте устроиться в Мюзик-холл вместе с Шурой. Отец намекнул, что постарается в этом помочь.

— Ну а теперь по домам! — скомандовала Мира. — Вы обязательно должны к нам приехать вместе с женой и дочерью. Мои родители будут счастливы. С сегодняшнего дня Шурик будет жить у нас, это забито.

— Милости просим и к нам. Нам с Шурой есть о чем подумать и поговорить. Тетя Мила будет ждать, а Катюша теперь студентка, и у нее появился жених, — отец был сильно навеселе, его добродушию не было предела.

Шура весь вечер в ресторане молчал, он не любил выяснять отношения, не знал, как себя вести, мысли путались. Ему придется сообщить Наде, что он уходит, она, конечно, будет плакать, умолять его не бросать ребенка, давить на жалость. Нужно всеми способами избежать этого разговора, отделаться запиской. А еще лучше попросить Миру поговорить с ней. Она

сумеет все сделать деликатно и умно.

Из ресторана они вышли последними, город жил по законам белых ночей, молодежь гуляла, пела под гитару, влюбленные парочки расслабленно фланировали в сторону Медного всадника. Любовь витала в городском воздухе, наполняла сердца надеждой, примиряла врагов, размягчала нервы… Как отец ни сопротивлялся, говоря, что поймает такси, Мира настояла на том, что подвезет его до дома.

Так Шура поселился в другой семье.

Через несколько дней Мира позвонила Наде и встретилась с ней. Как проходил разговор, Шура не знал и не хотел знать. Мира сказала, что предложила Наде развестись с Шурой и что она через знакомства берется все быстро оформить. Кажется, она добилась согласия и намекнула, что Надя получит «свою долю пирога».

Как напоминание о прежней жизни Мира кое-что привезла Шуре из его пожитков, в частности тюк с грязным бельем.

Внутри у Шуры было достаточно пусто, совесть молчала, на душе кошки не скребли, может быть, впервые он ощутил себя на пороге Счастья. Теперь не нужно останавливаться на достигнутом, надо слушаться Миру (это она так говорит), и все будет хорошо.

С первого дня новой жизни он окунулся не только в море сладкой любви, но на него свалились подарки, о которых он даже не помышлял. Ему купили водительские права, пыжиковую шапку и новые джинсы. На него надели махровый халат, уложили в крахмальные простыни, а по утрам поили импортным растворимым кофе.

Лето принесло приятные хлопоты, отношения с отцом, тетей Милой и Катюхой наладились, Мира с удовольствием бывала с Шуриком в Репино. Ей льстило погружение в литературно-актерскую среду, на даче она играла роль гостеприимной невестки, помогала тете Миле по хозяйству, подружилась с Катей, у них завелись женские секреты, они бродили по лесу, загорали на пляже, уединялись в укромной беседке в дальнем конце участка. Вечерами у них собирались друзья, «золотая молодежь» с соседних дач, Шура пел под гитару и был душой компании.

У родителей Мирочки от радости текли слюнки.

Несмотря на то что Шура совсем не думал о предстоящем разводе, ему по ночам снился плач ребенка. Он просыпался, вспоминал малютку, иногда грустил. К Наде за два года он привязался, привык, она была красавица, мужики вокруг нее всегда крутились, Шура ревновал. Бывало, что их мрачная жизнь освещалась веселыми пьянками, бездумно прожитыми днями, Надя от него ничего не требовала, сама была неприхотлива. Но Мира его убедила, что с ней Шура погибнет, а отец сказал, что он от такой жизни сопьется. Между ними произошел мужской разговор, Шура не все понял, особенно, что означала отцовская фраза: «Мы с тетей Милой, ради твоего счастья, готовы закрыть глаза на некоторые особенности Мирочкиных родителей».

Проходили недели безоблачного нового счастья, но грусть одолевала Шуру, он начал рисовать в голове картинки из Надиной жизни. Наверняка она не скучает, окружена поклонниками и уж долго «соломенной вдовой» не останется. Его разъедала не только ревность, но и надежда увидеть страдания Нади, ее слезы. А может быть, она переживает? Она, кстати, никогда особенно не плакала, многое ему прощала, и странно, что теперь не ищет с ним встречи. Любопытство взяло верх, и решил он увидеться с соседом Ванечкой, разузнать ситуацию.

* * *

Говорить Мире об этой встрече он не хотел. Подсознательно Шура чувствовал, что ей это бы не понравилось. В техникуме, в котором учился Ваня, сейчас были каникулы, и вероятнее всего он целыми днями ловит рыбу на Неве. Это было любимое занятие Ванечки. От дома на трамвае он добирался сюда час, приезжал к семи утра, устраивался в укромном местечке, окруженном плакучими ивами, и сливался с природой.

На Малой Невке, напротив Каменного острова, берега еще оставались травяные, не облицованные гранитом, а если пройти чуть дальше, то можно было попасть в парк ЦПКиО. Здесь пруды, Елагин дворец, стрелка Финского залива, аллеи с цветами, бронзовые и гипсовые спортсмены. Обычно летом граждане приезжают в ЦПКиО на пляж, слушают концерты, катаются на лодках, а зимой, когда пруды замерзают, открывается настоящий сезон катков и лыжных прогулок. В этой части Ленинграда (Старой деревне) природа была девственной, незагаженной, бурно цвела сирень, ромашки, кашки, одуванчики, по воде скользили байдарки со спортсменами, летали чайки, с залива несло морской свежестью.

Ванечка знал, что после обеда, часам к трем на облюбованный им бережок Невки набивались мамаши с детишками, они приезжали группами, расстилали на траве одеяла, усаживали карапузов, вываливали на газеты всякую снедь. Женщины судачили, пили, ели, иногда заходили в воду по колено, галдели, ругали ребятишек, и так до заката солнца. Дети подходили к Ване, смотрели в трехлитровую банку с водой, считали выловленных рыбешек, потом садились рядом и, глядя на поплавок, замирали. Ваня их не прогонял, иногда давал подержать удочку, просил не шуметь. На этот «дикий» пляж приезжали одни и те же мамаши, дети их подрастали, Ваню все знали по имени. Для него это место с годами стало сокровенным, он здесь погружался не только в воспоминания детства, но мог спокойно слушать по «Спидоле» свои песнопения. Мамаши, в заботах о бутербродах, пиве и болтовне, не обращали внимания на странную «классическую» музыку, лившуюся из приемника.

Когда Ванечке становилось невмочь от материнского мата и переругиваний, он собирал свои снасти и отходил чуть дальше; там берег был каменистый, приходилось подкладывать кусок старой клеенки, иначе если сесть, то на брюках оставались несмываемые пятна мазута.

Шура прошлым летом несколько раз бывал здесь. Ваня ему показывал разных насекомых, водомерок, рассказывал о жизни лягушек, он знал многие названия цветов и деревьев, а погоду мог предсказывать по ветру или заходу солнца.

Сегодня к девяти часам утра солнце только начинало припекать, и день обещал быть жарким. На толстом стволе плакучей ивы, наклоненном к самой воде, Шура приметил силуэт рыбака.

На траве аккуратно разложены снасти, цинковое ведро, сачок, старенькая холщовая сумка. Молодой человек сосредоточенно смотрел на поплавок и что-то шептал про себя. Шуру он не приметил, тот подошел и сел за его спиной.

Так в тишине прошло минут десять, Шура не решался заговорить первым, и тут Ваня оглянулся.

— А, Шурик, привет, — он радостно заулыбался, — иди поближе, садись, расскажи, как живешь… Давно тебя не видел. — Ваня был искренне рад, он отложил в сторону удочку и присел на траву рядом с Шурой. — Почему не приходишь к нам? Бабушку свою совсем забыл. Вы что, теперь с Надей к ее матери переехали? Она нам сказала, будто места там больше и отчим пить бросил… Здорово ты изменился, наверное, хорошо теперь зарабатываешь? Девочку

уже в ясли отдали?

Шура не ожидал такого поворота, он был уверен, что Надя всем рассказала правду. В голове у него быстро-быстро замелькали мысли, словно черно-белые кадры с Чарли Чаплином. Вот это поворот!

— Нет, Ваня, мы никуда не переехали, это Надя от меня ушла… Сама так решила сделать, она меня как бы бросила, ребенка забрала, от трудностей убежала, мне ничего не сказала… А что я должен был делать? Пришлось пойти другим путем… Знаешь, я так переживал, страдал, скучал, жил по друзьям, ни с кем не мог поделиться своим горем. Не бабке же и К. П. буду я рассказывать о подлости Нади?!

Шура так обрадовался, что разговор повернулся совсем не так, как он думал. У него словно камень с души упал, кошки перестали на сердце скрести, и совесть замерла. Все свои слюнявые страдания о младенце и красавице Надьке Шура сразу из памяти вычеркнул. Какой потрясающий выход из сложной ситуации! Как здорово, что она уехала к матери. Это судьба!

А что может быть выше судьбы?

— Ты себе не представляешь, как я скучаю по ребенку, как я любил Надю! Но она наотрез отказалась меня видеть и хочет развестись. Теперь она Мире звонит, требует от нее денег, шантажирует, шпионским образом узнала, что родители у нее состоятельные, угрожает им, собирается в Мюзик-холл жаловаться, чтобы испортить мне карьеру. Но ты ведь знаешь, мой отец этого не позволит, у него есть, чем на нее надавить. Ты, если ее увидишь, так этой суке и скажи, что у нас такие друзья, которые покажут ей, где раки зимуют! — Шура вошел в роль обманутого и отверженного, кричал, жестикулировал. Он верил каждому своему слову.

А Ваня притих, глаза потупил, и видно было, что он не совсем понимает, о чем идет речь. Может быть, он думал совсем о другом? Он ведь не от мира сего, все о добре, о Господе, о любви братской, ребеночком их занимался, хотел его крестить. Странно, что он молчит и в землю смотрит, будто стесняется.

— Шура, ты не думаешь, что лучше вам с Надей помириться? Всякое в жизни бывает, но у вас ведь доченька. Я не могу поверить, чтобы Надя тебе вредила! Она тебя так любит, вы два года прожили. Вам трудно было, а теперь у тебя работа хорошая, ты разбогател. Нужно ее простить, она, видно, чего-то не понимает. Хочешь, я с ней поговорю?

— Нет, ни в коем случае! В это дело тебе лучше не вмешиваться. Моя Мира с ней уже встречалась…

— А почему не ты? Причем здесь эта Мира? — удивился Ванечка.

— Да потому что Надька стала ее преследовать, ревновать, угрожать! Это мне все Мирочка рассказала. Она долго терпела, не хотела расстраивать меня, но в конце концов призналась. И еще… теперь у меня подозрения, что дочка вовсе не от меня. Мира узнала, по своим каналам, что Надька трахалась со всеми подряд. А я, наивный дурак, ей верил. Мне на многое раскрылись глаза в последнее время…

Ваня молчал. Он не знал, как убедить друга вернуться в семью. Он не понимал, как можно одним махом все зачеркнуть.

— Бог тебе судья, он все рассудит…

Разговор не клеился. Ваня взял удочку, забросил леску, включил «Спидолу», передавали новости по Би-би-си. Голос диктора то пропадал за заглушкой, то появлялся. Шура немного покрутил настройку, попытался подстроиться к джазу, но ничего не получалось. Он вспомнил, что совсем рядом, в Буддийском храме, был расположен центр «глушилки». Перед высокой каменной стеной, окружавшей храм, всегда прогуливались вооруженные солдаты, а в небольшие просветы сквозь деревья можно было разглядеть антенны и провода, паутиной подымавшиеся на крышу. Обо всем этом Шура не догадывался, если бы не отец Миры. Он многое знал, а в последнее время стал с Шурой откровенничать о политике.

## Планы

Как его любили! Это было чувство вулканическое, материнское, сочетавшее в себе страсть с желанием обладать безраздельно. За их спиной шептались о ее романах, над ним хихикали, кое-кто пытался его образумить. Но что есть голос совести и разума перед достатком и карьерой? Шура сдался с потрохами этой ошеломляющей женщине. Ее дом был полной чашей, здесь строились планы, в которых он мало разбирался, но центральное место этих радужных перспектив отводилось ему.

За несколько месяцев Мира провернула развод.

Наде, чтобы не «возникала», она отвалила сумму.

Шуре не пришлось особенно «косить» призыв в армию, нашлись добрые знакомые, все сделали в лучшем виде, достали «белый билет». А отец устроил в Мюзик-холл Мирочку, отношения с тетей Милой и Катей тоже наладились.

Не важно, что Мира оказалась не шибко талантливой, но зато главный администратор и директор часто получали от нее подарки. На душе у Шуры было безмятежно, на сердце кошки не скребли, а Мира всегда знала, как снять напряжение.

Память о Наде и дочке он из подкорки вычеркнул.

Память о совсем прошлой жизни тоже стер.

Новая жизнь началась с чистого листа.

Она должна быть лучше.

Она не может быть плохой.

Она будет счастливой. Он будет знаменитым и богатым.

Так ему сказала его любимая Мира!

А если она это говорит, то так и будет.

Она умная, а он дурак… ха-ха-ха, это она так шутит. Вот умора.

Почему только не берут его на гастроли?

Вот труппа едет уже второй раз в Югославию, а его оставляют запасным в Ленинграде. Мирочка так старалась, подарки отвозила, жену директора в правительственный санаторий устроила в Гагры, а за границу его не оформляют. Со слов семьи, все было «схвачено». Мира

сказала, что это от зависти, просто один из бездарей хочет Шурино место занять, вместо него в репертуар влезть, «нужно попробовать пойти другим путем», но каким, она не объяснила. Папочку своего подключила, тот нажал на «кого надо», а мамочка ее устроила «кому надо» пакеты с телячьей вырезкой и балыком. Уверяют Шуру, что у них есть «наверху» свои люди, им нужно «дать на лапу» и что они «своего мальчика» в обиду не дадут. А на днях Мира попросила его подписать письмо, сказала, что оно будет настоящей бомбой для «главного», и когда он с гастролей приедет, то наверняка его пригласят «наверх, то есть куда следует, и попросят кое-что рассказать из своей жизни за границей». Шура ужасно смеялся, он представил лицо «главного», а Мира ему обещала, что «главный на пузе к ней приползет и будет умолять больше ничего не рассказывать». Хотя у нее в запасе есть еще кое-что…

Вот какая сила была за Шурой!

Вот какая мощь толкала его на Олимп славы!

Он не один, он теперь с любимой соратницей, союзницей по борьбе, «а талант нужно холить и защищать иначе его сорняки задушат» — так говорит Мира.

Он ее боялся.

Вспоминать вслух безалаберное пьяное житье с Надей он не решался: песни под гитару, она с сигаретой и рюмочкой Цветаеву читает, ребенок плачет, вокруг друзья, кто уходит, а кто приходит, Ванечка помогает, девочку к себе забирает и три рубля одалживает. Он о прошлой жизни Мире не говорит, а если вспомнит, то она кричит: «Дебилы, недотепы, жалкие неудачники… И ты с ними дружил! Идиот!»

Он ее боялся.

У нее над ним была особая власть.

Что это за сила, от нее исходящая, он не понимал. Иногда он чувствовал, что ему с ней «как у Христа за пазухой», а иногда, как в воздушной яме, дух захватывает и под ложечкой спазмит. Отступать было поздно, выбирать невозможно!

Самому разобраться в ситуации было трудно, в голове начиналась полная чехарда, беспорядок и звуки кузницы, будто бумажные отходы в станок запускали, а с другого конца утильсырье выплевывалось, пространство малогабаритное быстро заполнялось до потолка, а станок все молотил… Мира знала, как это мысленное напряжение снимать. Она была единственным покоем и счастьем, вроде экстрасенса.

Родители ее с ним откровенничали. Рассказывали о своих родственниках за границей, там прижилось старшее поколение. Теперь в живых только бабушка, а от дедушки осталась овощная лавка. Мама Миры туда ездила, да не повезло, попала в их «шестидневную войну», думала, что ее обратно не выпустят. Теперь несколько лет прошло, и у семьи возникли планы. Многие родственники уже собираются, а они думают, взвешивают, считают, как, главное, не прогадать.

Ставка на Шурин талант — это главный козырь! С ним они не пропадут. Ресторан откроют, он будет петь, народ пойдет валом, потом гастроли по всей стране. Здесь у него шансов нет, а там свобода. Пой цыганщину, романсы, можно и Галича, а за это денежки и слава. Скоро все поедут, и мы не хуже. Нужно постепенно отчаливать.

Его в театре зажимают.

Талант не ценят.

Это все от зависти, это оттого, что здесь свободу задушили.

А там? Там будет иначе.

Его сразу оценят! Мирочка сказала, что она всех на уши поставит и он будет мировой звездой!

Все говорят, что там лучше.

Письма оттуда приходят, из них понятно, что никто обратно не просится, а значит, там хорошо.

Каждый вечер за ужином отец Миры с Шурой разговаривал. Он ему включал разные «голоса» и объяснял, к чему они призывают. Шура верил всем, а главное, все больше осознавал, какой он «непонятый» талант, что здесь сплошной «совок», а там перед ним откроются двери Счастья, творчество, сцена, гастроли. Мирочка будет его администратором и путевой звездой, они разбогатеют, купят дом, а новая семья уверяла его, что не только он, но и его отец сможет «там» по-настоящему стать знаменитым, место найдется всем, главное — «держаться локтя». Шура рюмочку французского конька выпивал, потом виски, потом пива и делал умный вид. «Да, вы правы. Я не подведу. А здесь только зажим и никакой свободы…» Он напряженно вслушивался в «голоса», но понять, кто есть «узник совести», «отказник», «отступник», «политзэк», «диссидент», «невозвращенец» и просто «враг народа», было очень трудно. Отец Миры ему раскрывал глаза на то, что «мы сейчас СССР не нужны (да и он нам сейчас не нужен), лучше поехать на родину предков и там проявить свои таланты». «Нас там ждут с распростертыми объятиями. Нам помогут». Он был отставником, рассказывал о своем боевом прошлом, хвастался наградами и частенько жаловался «на недальновидную политику партии». «Дали бы волю таким, как мы! С нашим опытом, связями, энергией, знанием людей мы бы здесь горы свернули и никуда бы не ехали. Мы эту страну из руин подымали, душу вкладывали, кровь за нее проливали, а теперь нас выжимают. Ну, да они еще наплачутся!»

Когда они эти планы обсуждали, то всегда на полную мощность включали радиоточку, на телефон клали подушку и из розетки выключали, говорили: «Нас прослушивают».

Это было похоже на кино про Штирлица.

Он вспоминал своего деда, как тот орал: «Всех в подвал и к стенке», а еще он вспоминал «друзей» отца, как они в их квартире тайные беседы вели и как отец гордился дружбой с ним». Где друзья, где враги? Картина выходила путаная, но похоже, что за этими людьми сегодня сила, что они не только СССР построили, умами ворочали, на кнопки невидимые нажимали, но и сейчас в их руках власть — как захотят, так шарик и закрутят. Если здесь у них все схвачено, то уж там они наверняка не пропадут. Старшее поколение были молодцы, они знали, как жить! Отец его всегда прямо по жизни к цели шел, вот награды и звания по заслугам получил, в театре на счету, друзья «наверху». Бабка и К. П. тоже из «бойцового» отряда, всего сами добились и всегда делили людей на «своих» и «чужих»… Шура вздыхал и вспоминал деда. Он теперь понимал, что означали его пророческие слова, что «нельзя расслабляться» и, главное, в душе «сохранять образ врага». А враги в этой поганой стране повсюду, старшее поколение это хорошо усвоило, потому и выжило и пробилось. Теперь его очередь эстафету принять, он глупым был и многого не понимал, а теперь все в его голове встало на место. Какое счастье, что он Мирочку встретил и она ему глаза на мир раскрыла!

Шура был уверен, что с отцом, артистом и либералом, он может поделиться планами о будущем.

* * *

Они стали неразлучной парой. Если Шура опаздывал к ужину или задерживался, она вызванивала его по городу. Всегда находила, теребила, говорила, как она скучает. Всех его старых приятелей она так умно «обнажила», что он сам понял, какие они жалкие и бездушные. Теперь у них подобраны общие знакомые, по интересам и целям. Друг — это тот, кто в жизни не подведет, на которого можно рассчитывать в трудную минуту, остальное все лирика и интеллигентские сопли. Из Мюзик-холла несколько человек уволили, прорабатывали на парткоме, потом им палки в колеса вставляли, унижали, они в три дня манатки собирали, но все равно уехали. Один из знакомых голодовку дома держал, о нем они слушали по «голосам», называли его «рефузник-отказник». Мирочка сказала, что она к нему боится ездить, чтобы «не засветиться», вокруг него полно гэбни. Она говорила, что у ее семьи другие задачи, чем у «некоторых», в политику лучше не соваться. Она говорила, что с «принципиальными сионистами» она никогда не свяжется, что она не сошла с ума, чтобы за «эти дурацкие убеждения нервы трепать, голодать и в тюрьме сидеть». Сейчас «гнать волну» не нужно, поэтому подписывать всякие письма в защиту «рефузников» (как это кое-кто делает) они не должны, а нужно использовать путь «объединения семьи», там живет ее бабушка, она их ждет, и поэтому постараемся все проделать в лучшем виде. Необходимо подготовить семью Шуры к возможному переезду. Рассказать об их планах может только она, а Шура будет сидеть рядом и слушать. Тетя Мила, Катюша и отец наверняка знают о перспективах, которые откроются перед ними. Они же не дураки, чтобы плевать в колодец, они люди деловые, образованные, в курсе мировых событий, а главное, верят ей и хотят счастья сыну. Невозможно даже представить, какой мировой фурор будет, когда сообщат по «голосам», что самый знаменитый артист СССР уезжает из страны! Тут и голодать не нужно будет, в случае чего правительства всех стран встанут на его защиту. А это означает, что, когда они туда приедут, их будут носить на руках. Нужно не торопясь все подготовить, продумать, как переправить ценности, поменять квартиру, вовремя уволиться из театра…

Обычно эти разговоры велись ночью или на прогулках. Шурино сердце замирало от счастья, он был уверен, что его отец будет гордиться таким сыном и невесткой! Мира так все хорошо и осторожно продумала. Ведь отец сам неоднократно обсуждал за столом новости «голосов», за границей бывал и вспоминал, как там люди живут. Он говорил, что в наших газетах одна пропаганда, там народ с голода не мрет, в магазинах еды полно, машин разных немерено, последний бедняк имеет автомобиль. Шура часто слышал, как отец с тетей Милой мечтали о жизни в Париже. «Начал бы я свою карьеру там, — сладостно мурлыкал отец, — все было бы иначе, не испытал бы я тех унижений, которые выпали на мою долю здесь…» Об унижениях он не распространялся, видно, из-за карьеры отец много натерпелся от завистников, а Шура это уже познал на собственной шкуре.

Но теперь все будет иначе. Шура гордился собой, он поможет отцу, и они по-настоящему прославятся. В голове его носились картинки красочных афиш с их именами, открытие ресторана, гастроли, кинокамеры. Он представлял, как будут, вылупив глаза, смотреть на телеэкран здешние актеришки-завистники, как по «голосам» будут рассказывать об их необыкновенной карьере на Западе. Ах, эти мечты, ах, эти сладостные сны! Неужели это все может стать реальностью? Он уедет из страны непуганых идиотов, от зависти, злобы, неудачи, бедности… и того, чего он не понимает, но Мира ему шепчет, что он потом поймет. Она его выведет в люди, она костьми ляжет, она там всех сумеет взять за горло, да так, что они не пикнут, будут ее слушать и делать, как она велит.

Планы строились, вырисовывались, время шло, Шура обрастал новым сознанием. Кто есть друг, а кто враг? Своя семья — это друзья, мой дом — моя крепость, а в чужой — враги. Своя семья — это закон, а в чужой — беззаконие. Он опять перестал выходить из дома, только в

Мюзик-холл и домой, в гости ни-ни-ни, а к ним только те, кто с ними заодно. Мира ему вдолбила, что раньше «он был дурак, ничего не понимал и со всякой шантрапой связывался».

Время шло, и приближался день, когда стало необходимо рассказать о планах отцу.

* * *

В один из зимних воскресных дней они приехали на дачу в Репино. Стояла солнечная и морозная погода, все сверкало и искрилось, народ с веселым видом покидал электрички, шумные компании высыпали на перрон, становились на лыжню, им предстоял здоровый отдых вдали от серого, мрачного города. У Шуры с Мирой на душе было спокойно и хорошо. Бодрым шагом они дотопали до дачи и уже издалека увидели дымок, подымающийся над высокой остроконечной крышей. Отец построил этот дом по особому индивидуальному проекту, хотел, чтобы он походил на финские дома, удалось даже раздобыть изразцовую печку-голландку, а на полу постелить цветной линолеум. Все сверкало чистотой и уютом в этом доме, барский дух сочетался с актерской вольностью и домовитостью. Каждая вещь знала свое место, каждый посетитель принимался радушно и по рангу. Здесь бывали не только знаменитые актеры и литераторы, но и министры. Своих студентов отец здесь принимал редко, в основном на квартире в Ленинграде, так было удобнее всем.

Шура позвонил у массивной калитки, тетя Мила в коротенькой модной дубленке, накинутой на плечи, выбежала им навстречу. Видимо, она только что вернулась с лыжной прогулки и еще не успела переодеть спортивного костюма, лицо разрумянившееся, глаза сияющие, как всегда, приветлива. Она крепко обняла Миру, потрепала Шуру по щеке, прошли в дом.

— Подымайтесь к себе в комнату, а в три часа будем обедать, я уже на кухне распорядилась, готовят для вас специально украинский борщ и пельмени. Отец вернется к обеду, поехал в Комарово в Дом творчества, какая-то шишка из Москвы приехала говорить о планах театра, обещают гастроли по Франции. Я пойду приму душ, а вы уж сами развлекайтесь, — и она исчезла в глубине дома.

Насколько Шура не любил этого дома, настолько Мира его обожала. Она «купалась» в его уюте, любовалась редкими безделушками, привезенными из-за границы, забивалась в шелковые подушки дивана в библиотеке отца, включала магнитофон и мечтательно закуривала американскую сигарету. Только здесь и у себя дома она могла спокойно позволить себе эту роскошь — никто не настучит и не насплетничает, откуда у нее взялось «Марльборо». Стеллажи с книгами по искусству, редкие старые от букинистов подписные издания, альбомы фотографий на низком столике, их разрешалось смотреть всем, а книги трогать и листать, если хозяин позволит. Вся стена в столовой была увешана не только фотографиями отца в ролях, но и рядом со знаменитостями. Здесь мелькали президенты Африки, ГДР, Польши, летчики, космонавты, физики, знаменитые врачи, актеры… Так, чтобы все знали, с кем он водится. Отец всегда сначала заводил гостя в эту комнату, оставлял минут на десять одного, человек невольно к этой стенке «прилипал», читал надписи на фотографиях, проникался уважением к хозяину, потом отец возвращался, галантно извинялся, что «нужно было срочно позвонить в Москву», и приглашал расслабиться в креслах.

За многие годы Шура изучил в поведении отца много разных «прибабахов», раньше он это презирал, а теперь стал уважать. Мира говорила, что «в жизни важно себе цену не только набивать, но и эту цену знать».

В доме было жарко, котел жарился круглые сутки, батареи раскалены до предела. Отец терпеть не мог холодного пола и утреннего просыпания в «морозилке». Зимой к ним каждый

день приходил мужичок-истопник, местный плотник и мастер на все руки. Тетя Мила ему доверяла, узнала по своим каналам, что в прошлом он служил при «ведомственном учреждении» и был на хорошем счету, жену его они взяли домработницей и поварихой, а когда уезжали с дачи, то поручали им за домом следить и в порядке его содержать.

Стол к обеду был накрыт на четверых. Катюша со своим женихом уехала в Москву на несколько дней. Он дипломат, и ему обещали неожиданное продвижение по службе, поговаривали, что отправят первым секретарем посольства в Алжир. Но пока об этом «молчок, никому ни слова, подальше от глаз завистников, чтобы не сглазить». Уже давно поговаривали о Катиной свадьбе, а теперь вопрос стоял ребром, они должны ехать в Алжир вдвоем, холостых не пускали. Тетя Мила была очень рада предстоящей свадьбе дочери и с улыбкой говорила о том, что необходимо объединить Катю-Вову-Миру-Шуру. Закатить пир на весь мир, снять большой ресторан, можно зал в «Астории» и отпраздновать на славу, у нее тогда сердце успокоится, что она двух своих любимых детей устроила в надежные руки!

Отец был сегодня в прекрасном настроении, встреча с чиновником Министерства культуры закончилась удачно, его назначили ответственным за гастроли по Франции. Отец был счастлив за Катю и рад за Шуру.

Когда на столе расставили чашки и принесли огромную ватрушку с изюмом, Мира со смаком закурила и сказала:

— Дорогие наши родители, нам нужно кое-что вам сообщить.

Тетя Мила сразу поняла, что ее намеки о совместной свадьбе были услышаны, и, разливая чай, предвкушала обсуждение этой темы. Отец откинулся в вальяжной позе, закурил сигару, попросил себе кофе. Он это делал крайне редко, в самые приятные минуты жизни. В доме было тепло, уютно, комфортно и безопасно.

— Дорогие наши родители, мы долго собирались с вами поговорить, но теперь настал момент, когда время не ждет…

— Неужели ты ждешь ребенка? На каком месяце? — радостно сорвалось у тети Милы, ее рука застыла с тарелкой ватрушки.

— Нет, моя дорогая Людмила Сергеевна, об этом пока рано мечтать. Я хочу поговорить с вами о других проектах. Я уверена, что они будут для вас так же приятны, как планы Кати и ее будущего супруга…

Мирочка открыла ротик: «Мы вас любим, мы вам верим, мои папа-мама тоже вас любят, я люблю Шуру, я хочу ему счастья, и наша семья уверена, что если он нас будет слушать, то его будущее обеспечено, а если вы согласны, то и ваше семейство от этого только выиграет». Ее монолог длился десять минут.

— Слушай, крошка, мы не возражаем против вашей свадьбы. Я твоим родителям верю и вполне разделяю их взгляды на семью. В чем проблема, разве мы против вашей свадьбы? — отец мурлыкал, как кот, встал, подошел к заветному шкафчику, достал бутылку «Камю» и добавил себе в кофе.

— Нет, дело не в свадьбе. Мы ведь хотим уехать.

— Куда, если не секрет? Наверняка в свадебное путешествие в Коктебель? Ты ведь любишь Крым, детка? — Отец отхлебнул кофе, встал, включил магнитофон, из него полился голос Эллы

Фицжеральд.

— …Мы хотим уехать в Израиль, — почему-то совершенно изменившимся голосом произнесла Мира.

Тишина — тишина — шок — шок — заморозка тел, мимики нет, губы не жуют, руки не двигаются, все оборвалось внутри, все замерло снаружи, жизнь остановилась, время не тикает, опасность на пороге дома, она уже в доме, страх за себя, за будущее, кошмар, ужас, это страшный сон, нужно себя ущипнуть, проснуться, все исчезнет, нет, это, к сожалению, — правда, ее трудно описать, невозможно понять, как во сне бессмысленные движения, глоток чая, глоток воздуха, глоток коньяка, жест, усмешка, пауза, молчание, опять усмешка, смешок, смех, глупая шутка…

— Ты шутишь, конечно? — произнес артист.

— Нет. Но ведь вы поедете с нами? Вас там ждет карьера, слава, богатство. Я все сделаю, чтобы Шурик встал на ноги, мы купим ресторан, а о вас весь мир будет трезвонить, вас там на руках будут носить… Ваши мечты сбудутся! — Она говорила много, долго, убедительно, по всей запланированной программе, но уже сама не верила в успех. Монолог иссяк, планы с жизнью не сошлись, все пропало. Шурик плеснул полстакана коньяка, выпил залпом, закурил, вышел из комнаты на крыльцо. Морозный короткий день догорал, он начался счастливо, кончался ужасно. Горстью снега Шура вытер лицо, оно горело не от коньяка, не от мороза, а от ужаса, наполнившего его сердце. Он вдруг осознал, что произошло непоправимое событие, разговор с отцом обернул всю ситуацию совсем не так, как думала Мира, с этой минуты назад дороги нет, и чем дальше, тем будет страшней. Он сплюнул в снег и вернулся в столовую.

Отец уже ходил по комнате, кричал в голос, тетю Милу била нервная дрожь; чтобы успокоиться, она укуталась в огромный пуховый платок и устроилась с ногами на софе.

— Да вы оба сошли с ума! Ты, наверное, не понимаешь, что я никогда и никуда не уеду из своей страны. Я ей всем обязан! Всем! Понимаешь — всем! Она меня вырастила, воспитала, здесь моя родина, мой дом. Ты не понимаешь, что там мы чужие и мне там делать нечего?! А что будет делать этот бездарный идиот (он ткнул пальцем в Шуру)? Неужели ты думаешь, что он там выживет? Он же под забором умрет, а ты его бросишь! — отец на секунду перевел дыхание: — Ты не подумала о санкциях, которые последуют после вашего отъезда? Меня из партии попрут, а потом из театра, Катюшин муж лишится должности, его песенка будет спета навсегда, на дипкарьере можно будет поставить жирный крест, нам всем выдадут «волчий паспорт»… А о матери моей, профессоре, вы подумали? Что с ней будет? Она ведь жизнь свою здесь положила, сколько студентов воспитала, она всеми уважаема! И что вы хотите, чтобы она на старости лет стала изменником Родины? Позором себя покрыла! Она не переживет этого!

— Кто же придумал эту историю отъезда? — дрожащим голосом спросила тетя Мила из своего угла.

— Кто бы ни придумал, а моей поддержки вы не ждите! И не надейтесь! Я не идиот, чтобы подписывать себе и моей семье смертный приговор, — отец орал в голос, резко обернулся к Шуре. Нервный тик исказил лицо актера, глаз дергался, рука судорожно мяла носовой платок.

— А ты, кретин, видно, не представляешь, что тебя ждет на так называемом свободном Западе? Ты ведь нигде не был, ничего не знаешь, советую подумать вам обоим, прежде чем решаться на подобное мероприятие. Во всяком случае, от меня помощи не ждите! Сразу говорю, что никаких бумажек я не подпишу! Кстати, у тебя ведь есть дочь и обязательства перед ней?

— Это не его дочь, и вы это прекрасно знаете! — взвизгнула Мира.

— Неужели? А почему же она носит его фамилию и так на него похожа? — удивилась тетя Мила. Ей очень хотелось принять участие в разговоре, защитить своего любимого мужа от нападок этой чужой женщины. Необходимо их из дома удалить, больше к себе не пускать, а то все пойдет прахом. Она сразу представила, какой скандал вызовет это в театре, в Министерстве культуры, в Правительстве, в руководстве, «наверху»!!! Они лишатся всего и навсегда! Их ждет позор, бедность, бесславие… и многое другое, о чем они уже наслышаны. Что же делать?

— А теперь прошу покинуть наш дом и никогда впредь не появляться и не звонить. Нам с вами не по пути, у нас разные цели и задачи, как жаль, что я в тебе, Мира, ошибался. А тебя, — отец грозно взглянул на Шуру, — мне искренне жаль. Одумайся пока не поздно, ты ведь еще не расписан с ней. У тебя остается последний шанс спасти себя и нас от позора. — Вид у отца был пришибленный, голос тихий, лицо бледное, события его настолько потрясли, что казалось, он вот-вот рухнет.

— Прошу вас, уезжайте, прекратите это издевательство. — Тетя Мила резко поднялась, обняла за плечи мужа, и он, как покорный, маленький ребенок, вышел с ней из комнаты.

Гром, молнии, град, наводнение, великий потоп — можно было ожидать чего угодно, но только не такого поворота событий. Мира судорожно курила, глаза прищурила, сама ощерилась. Пока она не знала, что делать.

Шура ее боялся и любил.

Отца он уже давно не любил, но и не боялся. А перед ней дрожал, была у нее над ним власть. Что это за сила? Он не понимал.

— Ну что, уже раскис, идиот! Едем! И будем бороться! Теперь, по крайней мере, ясно, кто друг, а кто враг! — Она раздавила окурок в пепельнице и вышла из комнаты.

* * *

*— Мама, мама, что такое?*
*Не малиновое ль варенье?*
*— Что ты, детка? Это папа*
*впал в трамвайное крушенье*

Шутливое четверостишье, слова народные, вполне соответствовало сложившейся ситуации. Мира объявила Шуриной семье войну не на жизнь, а на смерть!

Мира Шуру обожала, им владела и болезненно ревновала.

Он кролик, а она вроде удава или кобры. Под ее чутким руководством он был готов на все.

Каждый день приближал события. Они, словно снежный ком, обрастали деталями. Мира никак не могла взять в толк, отчего знаменитый артист повел себя неадекватно? Обиднее всего, что он ее унизил, несерьезно к ней отнесся, почти как к дуре. Потом она сделала вывод, что он просто «поганый патриот, трусливый карьерист и скрытый антисемит». Отступать от своих планов она не хотела, да и не могла, потому что ее родители уже оформлялись в ОВИРе. По идее «объединения семьи», они вперед поедут, а она с Шурой вдогонку. Если его семейка будет им вредить, палки в колеса вставлять, она на них управу найдет, даже друзья в «верхах и

органах» ему не помогут! Обезвредить артиста можно разными путями, начать с мелочей, анонимок «куда надо», а закончить мировым скандалом. А за это время родители ее тихонечко уедут, там устроятся, она сумеет в Ленинграде продать квартиру, мебель, антиквариат, переправить «брюлики» и подготовить почву для карьеры Шуры. Он туда приедет, и сразу афиши, ресторан, гастроли, деньги, слава, папаша его будет только зубами клацать от злобы. Приемник включит, а из него по всем «голосам» его сын поет и правду об их отъезде рассказывает: как им вредили, какие «органы» подключали, как из Мюзик-холла выгнали и работы лишили, они с хлеба на квас целый год перебивались, страдали, друзья помогали — мир не без добрых людей…

Мира знала, что самая трудная задача даже не с этими продажными патриотами справиться, а с бывшей женой Шуры. Он, сопляк, до сих пор эту «колдунью» любит, о девочке своей вспоминает, иногда ходит подсматривает, как она из садика за ручку с бабушкой выходит, даже жалкие гроши через знакомых пытался ей подбрасывать. Это Мире известно через своих шпионов, но она скандалов пока не устраивает, а как только они распишутся с ним, тут уж она станет полноправной хозяйкой, но расписаться можно будет только после отъезда ее родителей, чтобы никак Шурино имя в документах сейчас не мелькало, внимание чиновников не привлекало. Какая же она дура, что до отъезда родителей «засветилась» артистической семейке! Страшно, если знаменитость на «кнопки свои будет нажимать»!

Мысли вертелись в голове Миры круглые сутки, трудно поверить, что еще полтора года назад она восторгалась Шуриной семьей и была уверена в их единстве. Вот змеи подколодные, рассуждают о «духовности и творчестве», а на самом деле «совки», за деревянные рубли купленные, только о наградах и думают. А их сучке-дочке с дип-зятем я покажу, «где раки зимуют»! Она мне многое из своих секретов нашептала, ни в какой Алжир они не поедут, в лучшем случае зятек будет прозябать в МИДе, бумажки из кабинета в кабинет таскать.

А сейчас нужно затаиться и сделать вид, что они обдумывают их советы. Пусть считают, что дачный разговор произвел впечатление, и они вправду засомневались.

— Шура, ты позвони своему папаше-патриоту и скажи, что он прав и мы, вероятно, никуда не поедем. Нужно ему мозги запудрить, бдительность его усыпить, а то он такую кашу заварит и дров наломает… Попроси их никому не распространяться о нашем разговоре.

Мира понимала, что знаменитый артист и сам будет играть в молчанку, не в его интересах трепаться о «таких» планах. Но в данной ситуации навести тень на плетень не помешает.

Родителей своих она оберегала, о скандале на даче не рассказывала, отнекивалась. Как ни странно, им не пришлось долго ждать, к весне родители Миры уже получили разрешение на выезд, отвальной не устраивали (чтобы не привлекать особого внимания), тихонечко улетели на историческую родину. На душе и в квартире образовалась пустота. Мирочка очень любила своих «стариков», жалела их, кроме того, они были большой материальной подпиткой. Теперь можно было расписаться с Шурой, и прямиком к намеченной цели.

Время шло, оно спрессовалось, сжалось в комок, нужно многое успеть, главное, не расслабляться и не мелочиться. Первый этап они прошли: уволились тихонечко из Мюзик-холла, деньги ей родители оставили, она продала кое-какие малоценности, а «Жигуленка» продадут под отъезд, теперь нужно добиться от Надьки подписи под свидетельством, что она «не возражает против отъезда отца ее дочери». По закону «свинства» в ОВИРе требуют выплаты алиментов до совершеннолетия девчонки. Но она же не его дочь! Нужно это доказать, Шурку пошлем «по блату» в лабораторию сдать сперму, ему справку выдадут, что он «уже десять лет как импотент», а потому зачать ребенка не мог, Надьку обвинят в мошенничестве,

алименты платить не нужно будет. Ха-ха-ха! Мирочка была собой довольна, ловко придумала, не головка, а «дом советов»!

Шуре такой план показался забавным, он представил процедуру в лаборатории и глупо хмыкнул.

Пришлось ехать в Первый медицинский, где его обласкали, сказали, что через десять дней выдадут нужную справку. Шуре все это казалось смешным, несерьезным, но коли так велела Мира, он согласился, иначе выходило, что деньжищи до совершеннолетия дочки нужно было бы выплатить огромные. А кому хочется?

Справку выдали, он ее по почте заказным письмом Наде послал, она глазам своим не поверила, звонила, плакала в трубку и искренне его жалела, сказала, что это не она хочет алименты, а ОВИР от нее так требует, она от него никогда ни копейки не просила, она здесь ни при чем, дочка носит его фамилию, а он ее отец. Мира вторую телефонную трубку держала, нервно курила и Шуре громко зашептала, что заплатит Надьке, если та откажется от отцовства и его фамилии. «Скажи этой стерве, что бабки будут бешеные!» — билась в истерике Мирочка. Шура идею выдвинул, предложил, а Надя плакала и не понимала, зачем лишать девочку отца, говорила, что никаких денег ей не надо и что это вправду ОВИР требует. Пришлось продать «Жигуленка» и заплатить этой жадной гадине все до копеечки. «Вот увидишь, она эти деньги просадит за десять дней! Она цену денег не знает! Это же богема! Твоей доченьке достанутся к совершеннолетию рожки да ножки». Ох, как она ненавидела эту длинноногую малохольную «колдунью»!

Документы для выезда на постоянное место жительства в Израиль были почти собраны. Не хватало двух подписей: Шуриной матери и его отца.

В Москву решено было поехать одной Мире, она предварительно много и ласково говорила по телефону, в сутки обернулась туда и назад. «Если бы все были такими сговорчивыми, как твоя мамочка! Деньги пересчитала, бумажку подписала, о тебе не спросила».

К отцу они не знали, как подступиться, а время поджимало.

В результате решили ему послать по почте письмо, с просьбой написать заявление, «что он не возражает о выезде своего сына на постоянное место жительства в государство Израиль…» и так далее, все по форме. Ждут неделю, никакой реакции, звонят по телефону, никто не снимает трубку. И вдруг, совершенно неожиданно, им какой-то человек говорит, что его отец выступил с заявлением в Обкоме партии, в газете «Труд» и по радио, что он осуждает поступок своего сына и чуть ли не отказывается от него, что «он, советский патриот и творческий деятель, положивший всю свою жизнь и силы на прославление советского театра и кино, не понимает, как можно предать свою Родину, и что никакого согласия на выезд он никому не подпишет…» И еще много-много другого было написано в этом ярком документе, а внизу приписка, что бабка-профессорша присоединяется к этому официальному осуждению.

Такой безобразной прыти от артиста Мирочка не ожидала. Она позвонила знакомому гэбэшнику (он ее родителям помогал оформляться) и рассказала о событиях. Он уже все знал и сказал, что это очень хороший поворот в деле, потому что волки сыты и овцы целы: «Отец смыл позор своего сына официальным заявлением, он за него не в ответе, от него отказывается, руки теперь у всех развязаны».

Мирочка так ликовала, что готова была этого знаменитого папашку на руках носить! Черт с ним, пусть здесь в «совке» прозябает, своей творческой бытовухой наслаждается, лишь бы им

не мешал.

Через пятнадцать дней они получили повестку из ОВИРа.

## Свобода, слава и деньги

Не стоит рассказывать перипетий предотъездной горячки, она ничем не отличалась от сотен других. Почти у всех прошедших унижения ОВИРа были жалкие пожитки, на сборы давалось три дня, счастливчиков, сумевших заранее переправить ценности, было меньшинство, кого-то вдали ждали родственники, кто-то до последней минуты сомневался. Заставляли уезжать семьями, старшее поколение ехать не хотело, здесь была их родина, там незнакомый язык и чужая страна. Отъезд, как эпидемия, заражал всех, и от этой лихорадки невозможно было укрыться. Другого пути покинуть Страну Советов в те годы не существовало, выезд в Израиль использовали не только евреи, но и русские, присылались фальшивые вызовы, женились на еврейках и выходили замуж за евреев. Шанс, хоть и очень сомнительный, был для многих большим соблазном. Назад дороги не было!

Поезд, на который погрузились Мира и Шура, отправлялся из Москвы проездом через станцию Чоп на русско-венгерской границе с конечной целью в Вене. Соседи по купе были спутниками «по несчастью», разговоры вертелись вокруг оформления виз, документов, садизма ОВИРных дам, предательства и трусости друзей. Народ должен был выговориться, выпотрошиться наизнанку, столько накипело, что никто не мог молчать. У каждого была своя история, рассказы, слезы, горечь и надежды. Странно, что никто не строил планов, прошлое спрессовалась в этом поезде Москва — Вена, и состояло оно из воспоминаний. Объединяли этих людей горечь и обида, зачем СССР, в который они вложили жизнь, провожал их как предателей Родины.

— Я эту страну непуганых идиотов из сердца и души вычеркнул, ностальгией болеть не буду! Это уж я вам гарантирую, — с жаром уверял слушателей гражданин лет сорока. — У меня специальность прекрасная, я врач с двадцатилетним стажем, как приеду, меня сразу в больницу возьмут, а жена моя — инженер-нефтяник, там таких уникальных спецов, как она, вообще нет. Голодать не будем, это точно!

Мирочка тоже делилась своими «прожектами», и все вокруг охали да ахали, завидовали ее ловкости и дальновидности. Так они все ехали да ехали и приехали на венский вокзал.

Суета, багаж, тюки, плач детей, старики — все это напоминало эвакуационные кадры кино. Время мирное, а у самого выхода из вагона их встретили люди со списками. На платформе все расселись кто как мог, дальше не пускают, их окружили люди в униформе и задавали вопросы каждому в отдельности. В одной группе чиновники из организации СОХНУТ,[3] а в другой — ХИАС.[4] Для пассажиров это полная абракадабра, но кто-то уже был в курсе такой проверки-сортировки, подготовились. Из СОХНУТа отбирают тех, кто хочет прямиком в Израиль, а кто сомневается, тех ХИАС забирает, в лагерь Остия, под Римом, отправляет, это вроде отстойника на долгие месяцы, зато потом если повезет, то Америка, Канада, Австралия, в Европе никого не оставляют.

— В какой степени Вы ощущаете себя евреем? — этот вопрос был задан высокому, тощему господину в пенсне, который всю дорогу провалялся на верхней полке, молчал, курил трубку, читал книжки по-французски и ни с кем не разговаривал.

Теперь он стоял на платформе, у его ног кожаный чемодан, на пальце золотое кольцо с печаткой. Мирочка ушки на макушке навострила, с любопытством на странного

полуиностранца смотрит. Интересно, что он ответит?

— Ни в коей мере я не ощущаю себя евреем, я светлейший князь Г. и в Израиль не собираюсь, у меня есть родственники в Швейцарии… — Его мгновенно окружили ХИАСники, тут же появились иностранные журналисты, защелкали фотоаппараты, кинокамеры, очевидно, приезда этой «птицы» ждали.

Вот это да! Шикарный господин, видно, дело знает. В голове у Мирочки сразу все завертелось. Шестое чувство ей нашептало, что этот тощий интеллигент своего не упустит, может быть, он «сын лейтенанта Шмидта», но поступает правильно! Она потащила Шуру за руку в конец очереди и зашептала.

— Слушай, ты должен сказать, что не ощущаешь себя евреем. Этот ХИАС нас к себе возьмет под крылышко. Ты видел, как этого «князька» принимали?! А он не дурак, знает, как нужно выехать, что сказать и где причалить. Мы должны зацепиться в Вене всеми силами, а потом что-нибудь придумаем!

— А как же твоя семья? — удивился Шура.

— Не беспокойся, главное, о нас нужно думать, о твоей карьере, а к родне мы всегда успеем попасть…

Вопросы-ответы, весь народ разбился на две кучки, у многих вид растерянный, кто-то плачет, некоторые семьи разделились, молодежь в Израиль ехать не хочет, старикам все равно, они там обеспечены.

— Мы тоже не ощущаем себя евреями… У нас тоже дворянские корни, у моего мужа отец — знаменитый артист театра и кино, а бабушка из древнего рода, правда, она это забыла, но мы вспомнили.

Молодой чиновник внимательно посмотрел на Миру, ни один мускул на его лице не дрогнул, он сверил фамилии по списку, поставил галочку и на чисто русском языке сказал: «Проходите».

Через два часа все были опрошены. Одна группа через двадцать четыре часа отбывала в Израиль, другой предстояло пробыть неделю в Вене, а потом — «итальянское гетто» на много месяцев ожидания.

Всех рассадили по автобусам, группу, выбравшую «итальянское направление», повезли через весь город в домики пансионного типа, а те, кто «ощущал себя евреем», через несколько часов отлетали в направлении исторической родины. За окнами автобуса замелькали огни, непривычно чистые улицы, ухоженные парки, кафе, нарядно одетая толпа, спешившая по своим делам. Мира прилипла носом к стеклу и не могла оторваться, рассказы о «загнивающем» Западе были жалкой пародией на то, какой достаток она учуяла в воздухе этого города. Это надо же, живут же люди! Вот указатель, что до Венгрии рукой подать, от Москвы лету два часа, а все здесь как на другой планете. Потом был просторный, чистый пансионат, любезные чиновники провели инструктаж, сказали, что будут кормить три раза в день, дали карманные деньги, поселили в огромную комнату с телевизором, предупредили, что через неделю (а может, и раньше) отправка в Рим.

Вечером в большой столовой за одним столиком они оказались рядом с шустрым и веселым малым. Оказалось, что он окончил Институт Лесгафта, был мастером спорта, перед отъездом подрабатывал массажистом у друга в сауне.

Он был уверен, что нужно всеми силами зацепиться в Германии, его заветная мечта — покупка спортклуба для рядовых граждан. Дорога к успеху заранее обеспечена, он знает, как сгонять лишний вес, делать массажи, купит тренажеры, наймет хорошеньких девочек (свои дешевле), а через пару лет станет хозяином ресторана. Мира замерла, когда услышала это волшебное слово.

— Ты хочешь русский ресторан купить? Слушай, а ты знаешь, что это моя мечта, ведь Шурик — первоклассный певец, на гитаре играет, а посмотри, какое обаяние, внешность. Давай вместе к цели пойдем?!

Парень смерил Мирочку оценивающим взглядом, на Шуру взглянул мельком.

— Ну а бабки у тебя есть? Здесь одним талантом не проедешь, это тебе не Голливуд.

— Слушай, у меня все продумано, свою долю мы внесем, мне пришлют «капусту» родичи. — Мирочка не стала распространяться, как она со знакомыми грузинами переправила свои «брюлики» в Израиль. Ей обещали все реализовать в лучшем виде!

Парень был крепышом, роста невысокого, волосы курчавые, глаза со смешинкой, звали Юриком. Он сказал, что нужно «рвать отсюда когти», перейти австрийскую границу и оказаться в Мюнхене.

— Ну а за переход границы денежки вперед. Завтра, Шурка, выйдешь в город со своей балалайкой, лучше на центральную площадь, пой свои романсы да шапку подставляй. Проверим, как на тебя клюет Запад. Это будет для тебя боевым крещением. — Парень достал миниатюрную записную книжечку и что-то записал. — Друзья, выпьем за успех предприятия! — Он нагнулся и из-под стола ловким движением достал бутылку виски.

* * *

Из большого цветастого платка, длинной юбки и вышитой кофточки она соорудила себе русский костюмчик. Шура был «прикинут» лучше. Еще до отъезда в театральных мастерских Мюзик-холла они «одолжили» атласные косоворотки, красные сапоги, широкие бисерные пояса, семиструнная гитара расписана цветами, а в дополнение фольклора Мира била в бубен и приплясывала. Пара выглядела супертоварно. Недалеко от них трое местных студентов играли на скрипочках и флейтах Моцарта, конкуренция оказалась жесткой, под натиском бубна и цыганщины ребята не выдержали, пришлось искать другое место.

Шура с Мирой так старались, что через час вокруг них образовалось плотное кольцо зевак и туристов. Им хлопали, бросали монеты, кто-то просил исполнить «Подмосковные вечера», время летело незаметно, и к концу дня шапка-ушанка была полна иностранной валюты.

Усталые и довольные, они приплелись в пансионат. Юрик их ждал, вместе стали считать выручку, он деловито разделил сумму пополам.

— Шурка, ты молоток. Может, из тебя выйдет второй Алеша Дмитриевич?! Он до старости у себя в Париже пел, на него вся эмиграция молилась. Будешь меня слушать, выбьешься в люди. Времени у нас в обрез, я слышал, что через три дня погрузка в Рим, так что готовьтесь, скоро нас ждут великие подвиги. Кино про шпионов помните? Здесь границы не «на замке», и при малой хитрости мы этих «фрицев» одурачим. А теперь, братцы-кролики, на покой, завтра у вас трудовые будни, а я по делам побегу.

Жизнь в Юрике била ключом, невольно даже Мирочка подчинялась этой кипучей энергии, он

послан им свыше, и они с ним горы свернут, она всегда верила в успех, гордилась своей проницательностью и знанием людей.

На следующий день они пришли на ту же площадь. Из-за воскресного дня народу собралось еще больше. Кто-то их фотографировал, просил автограф. Худощавый, спортивного вида мужчина подошел к Шурику совсем близко, щелкнул фотку.

— Здравствуйте, — на чистом русском языке обратился к ним иностранец. — Я журналист радио «Немецкая волна», сейчас в командировке, не могли бы вы ответить на несколько вопросов?

Шура перебирал гитарные струны, растерянно посмотрел на Миру.

— Отойдем в сторонку, — Мира взяла журналиста под руку. — Что вас интересует?

— Сейчас не так много выезжающих из СССР, можно надеяться, что через пару лет эмиграция будет массовой. Нас интересует, как вы выехали, куда путь держите и каковы ваши планы? — Мужчина достал из нагрудного кармана визитную карточку.

Вот она, слава! Она стучится в двери, она лезет изо всех щелей, стоило только выйти на улицу, и Шурика уже окружают журналисты. Она вдруг вспомнила тощего князя на платформе, как его встречала пресса, теперь их очередь, три дня прошло, а карьера уже на мази.

— К сожалению, сейчас мой муж не может с вами говорить, он поет, нам нужно заработать, мы нищие… — в голосе Миры звучали слезы по Станиславскому.

— Понимаю, не беспокойтесь, я заплачу вам за интервью. Приходите через пятнадцать минут в кафе напротив, я буду вас там ждать.

Пока Шура собирал концертные пожитки, Мирочка ему вдалбливала: «Это только начало, тебя услышит весь мир, посыплются предложения, не будь дураком, расскажи о себе, о планах, о твоем тяжелом прошлом, как тебе папаша вредил, как мы выезжали…» Голова кружилась от успеха, может, и правда после интервью его заметят, в кабаре пригласят.

Журналист сидел в кафе на застекленной веранде. Он выбрал укромное место, рядом никого не было, на столике лежал блокнот, маленький магнитофон и стояли три больших стакана с пенящимся пивом. Шура вспомнил, как по «голосам» он слушал рассказы эмигрантов-диссидентов и решил не ударить в грязь лицом.

— Значит так, я из древнего дворянского рода, правда, об этом мои предки никогда не вспоминали, боялись! В СССР они знаменитые деятели искусства, особенно мой отец, он имеет все звания, Брежнева в кино играл, в театре — Петра Первого, но отец меня предал, отказался от меня публично. Трус, одним словом, и политическая проститутка! А мать моя молодец, хоть она из простых, а не из дворян, все мне подписала и в дальний путь благословила.

Кстати, мой отец ее бросил из карьерных соображений, она всегда обо мне помнила, заботилась, письма писала, а мачеха эти письма от меня скрывала. Ну а жена моя бывшая, Надежда, нас с Мирой ограбила, через суды и интриги все до последней нитки пришлось ей отдать (о дочке он умолчал). Друзья, все как один, нас оставили, струсили, как только узнали о нашем отъезде в Израиль. С работы нас выгнали, на парткоме прорабатывали, дали отрицательную характеристику, КГБ за нами следил, это мой отец ими управлял, последние месяцы мы впроголодь жили, только о свободе и мечтали, лишь бы из этой поганой страны ноги унести…

— Так вы уезжаете в Израиль? В какой степени вы ощущаете себя евреем и патриотом вашей будущей родины? Вы хотите изучить язык, работать в киббуце, пойдете в армию? — спросил журналист.

Шурик таких вопросов не ожидал, растерялся, но на помощь пришла Мирочка.

— Нет, мы себя сионистами и патриотами не считаем, мы ведь выросли в Ленинграде, впитали с молоком матери русскую литературу, музыку, балет. Для нас тяжело сознавать, что мы покинули родину, нас выкинули из нее, теперь Шура может только надеяться на свое ремесло. Он очень талантливый! В СССР ему ходу не давали, зависть одна, доносы строчили, за границу не пускали…

— Так вы хотите просить политического убежища? Вы диссиденты?

— И да и нет! Мы с женой всегда были скрытыми инакомыслящими! И мы осуждаем несвободу слова! Я там боялся романсы петь. Нам рта не давали раскрыть, затыкали, преследовали, Высоцкого запрещают… — уже уверенно подхватил Шура, он вспомнил, как нужно говорить. — Вот почему мы хотим просить политического убежища. Свободу всем узникам совести! Да здравствует Че Гевара, свободу Солженицыну! Но пасаран!

— Но Австрия — нейтральная страна и не предоставляет политубежища.

— Мы подумаем над этим… А можно я для радиослушателей спою? — Шура от напряжения весь взмок, скорей бы конец этим каверзным вопросам. Ничего он про киббуцы и армию не знает; и зачем ему нужно там картошку сажать и ружье таскать? В «совке» он эту армию в гробу видел, а на участке деда и отца лопатой давно отмахался, что они, с ума посходили? Он — суперталант, а его раньше времени в землю хотят закопать. Дудки!

Шура спел «Не уезжай ты, мой голубчик», «Калитку» и что-то белогвардейское.

Последний вопрос:

— Скажите, Шура, вы ведь знаете, что в СССР есть люди, которые, несмотря на страшный режим и репрессии, говорят правду и не бояться арестов? Им тоже рот «затыкают» (журналист усмехнулся). Среди них есть русские, верующие, украинские националисты, сионисты, их сажают, преследуют, но они продолжают бороться за свободу и свои права. Вы ведь из Ленинграда и, конечно, о «самолетном деле» слыхали? О Кузнецове, Щаранском знаете? Эти люди хотят видеть Россию другой. Вы к каким инакомыслящим себя относите?

— Если честно, то я еще не определился. Должно пройти время, я поживу на Западе и тогда пойму лучше, кто же я на самом деле…

Журналист порылся в карманах, вынул несколько смятых долларов и небрежно бросил их на стол…

Переход границы с Германией не был похож на кино про шпионов. За рулем поношенного «Вольво» сидела немолодая, крестьянского вида женщина, по-русски она знала несколько слов, дорога петляла в горах, спускалась в лощины, глубокой ночью, не заметив ни одного погранпоста, они пересекли границу. Машина остановилась у маленькой железнодорожной станции. Вокруг ни души, лес, фонарь, крошечный вокзал. Им предстояло ждать первого утреннего поезда. Юрик сунул немке деньги, та внимательно пересчитала сумму, осталась довольна, машина развернулась и исчезла в кромешной тьме.

Гигантские сосны мрачно шумели, вокруг был бескрайний темный лес, время будто замерло, черная дыра звездного неба давила вечностью. СССР, ОВИР, ненависть, надежды, границы… где все это? Шуре ужасно захотелось писать, как в детстве, когда он просыпался ночью от храпа деда. Из дальней памяти выплыла Ланочка, ее коса в обувной коробке, Польша, бабуся, пироги с малиной… Детство было страшным, но счастливым. Может быть, потому что оно было предсказуемым и бессобытийным? Теперь его ждут беспокойные годы, великие подвиги, стиснув зубы, он пойдет до конца.

Беглецы вошли в станционный домик, Юрик купил у заспанного кассира три билета, и в ожидании поезда они устроились на деревянной скамье. Напряжение последних дней спало, они безмятежно заснули.

* * *

С той переломной ночи прошло несколько месяцев, а казалось, что прошли годы.

Шура вспоминал, как в Мюнхене, на площади перед вокзалом, они кинулись к первому полицейскому и закричали, что «просят политического убежища». Потом их допрашивали, составляли досье, Шурик, как попугай, повторял историю, рассказанную журналисту, переводчик переводил, полицейский тщательно стучал на машинке. Устроились они жить на окраине города, в трущобе, втроем в одной комнатенке, здесь же на этажах негры, турки, полно вопящих детей, все говорят на незнакомых языках, а они на своем островке «белой жизни» только по-русски. Грязь, вонь, голодно и холодно. Юрик ждал от кого-то денег, Мирочка тоже ждала от родителей перевода за «брюлики», но случилось непредвиденное, грузины, которые были надежной переправой, все «цацки» украли. Биться в Израиле с полицией, искать воров никто не мог и не хотел. Мира впала в отчаяние. Потом начались из-за денег ссоры и драки с Юриком, он хотел Шурика поработить, заставлял часами петь на улицах, выручку всю отнимал, Мирочке по морде дал, словами оскорбил, сказал, чтобы она заткнулась. Шура, чтобы расслабиться, начинал пить пиво с утра, потом шнапс, потом опять пиво. Однажды Юрик больше не вернулся в их комнату, исчез в неизвестном направлении.

С одной стороны, это было хорошо, они избавились от рабства, но Юрик был для них хоть и плохим, но переводчиком. Шура и Мира немецкого совсем не понимали.

Вот и решили они узнать адрес русского ресторана.

Пошли вдвоем. Хозяин оказался грузином, эмигрант со стажем, работал на радиостанции «Свобода», вел какие-то политические новости, а ресторан приобрел для отдушины.

Разговорились, и Шура стал ему выкладывать об отце, какой он знаменитый и какой он гад! Как его унижали, преследовали, палки в колеса вставляли, работать не давали, а еще он думает, что отец не просто зажравшийся партийный «совок», а еще и стукач, потому как Шура вспоминал встречи и разговоры отца с его визитерами в погонах. А Мира напомнила о его сестре Кате и ее муже-«дипломате», наверняка тоже сволочь гэбэшная, потому что уж больно карьера хорошо началась, и теперь они в Алжире, успели свалить, а жаль, иначе бы сидели в Тмутаракани и лапу бы сосали. Вот почему Шура-Мира считают своим долгом рассказать всему миру о том, «как живут и чем дышат» в СССР, и предупредить людей, чтобы не расслаблялись, никому не верили и всегда бдили. Вокруг советские шпионы, их засылают под разными масками, иногда кажется, что это «свой», а на поверку выходит «чужой». Шура даже высказал предположение, что Юрик тоже был из засланных, потому что здорово говорил по-немецки и знал, как перейти границу. Грузин слушал молча, сказал, что берет Шуру петь в ресторан, но выступить с заявлением по «Свободе» не предложил.

Они переселились в маленькую комнатку над рестораном. Хозяин жил в роскошной квартире в центре Мюнхена, приезжал раз в неделю составлять меню, проверять дела, его жена-немка вела всю бухгалтерию. Ресторан пользовался успехом, народ набивался разный, Мирочке приходилось помогать убирать со столов и мыть грязную посуду.

Но какой голливудский артист не проходил через эту романтику!

Плохо было, что язык давался с трудом, да и где было научиться ему, если общение в основном шло с русскими эмигрантами или грузинами. Шурика эта глухонемота не раздражала, он пел всю ночь свои романсы, утром отсыпался до двух часов, потом спускался в скверик напротив и слушал по приемнику русские новости. Голоса дикторов были до боли знакомы, их интонации возвращали в детство, никаких катастроф, потопов, пожаров, жизнь в стране «непуганых идиотов» шла своим чередом. Однажды он услышал радиоспектакль, где главную роль исполнял отец, его голос вверг Шурика в панику, он вырубил приемник, потом опять включил и не мог оторваться.

Время шло, оформление бумаг в Германии оказалось делом сложным и муторным.

С каждой бумажкой приходилось обращаться к хозяину или его жене, унижаться, чтобы написали по-немецки, пошли вместе в полицию, самые элементарные вещи требовали посторонней помощи и объяснений, а вокруг одни «ганцы-иностранцы»!

Шуре было тяжело понять эту чужую страну, иногда он вспоминал свои несчастья в СССР, обиды, но никогда он не мог вообразить, что «старые враги» будут ему милее этих «немецких глухарей», которые не хотят его слушать! Он им поет романсы, цыганщину, в местный театр пихается, а в ответ улыбки, вежливость, говорят: «данке шон, битте шон» — и никакой реакции. С этим трудно справиться, обида нарастает с каждым месяцем, денег нет, вокруг шикарно живут, у всех машины, квартиры, пьянки, гулянки. Вроде эти немцы к нему хорошо относятся, но ничего не предлагают, он однажды кричал, доказывал, говорил, что пострадал от КГБ. Мирочка была рядом, поддержала его, но никакой реакции не последовало. Опять улыбались в ответ и написали несколько адресов на бумажке. Если по ним пойти, то, может быть, там помогут выбиться в люди. Они шли, но там тоже давали советы и адреса, а работы другой не предлагали. Объяснить этим тупым «фрицам», что перед ними нераскрытый гений, было невозможно. В общем, как Берлинская стена, насквозь не пройти, обойти невозможно, приходилось жить в изоляции среди «иностранных врагов». Пытались они с Мирочкой со своими собратьями по несчастью дружить. Но у каждого из них только камень за пазухой, сплетни и поддержки ноль. Все норовят пристроиться у каких-нибудь социальных пособий, получить бесплатное жилье, Шура-Мира тоже записались в очередь, но им сказали, что нужно ждать оформления документов, потому что они политэмигранты. Можно, конечно, попробовать сыграть на Мирочкином происхождении, рассказать, как ее бабушка пострадала во время войны от Гитлера, говорят, за это немцы кучу денег дают, у них комплекс вины, и теперь они в глазах всего мира хотят восстановить справедливость. Но этот ход Мирочка оставляет как запасной вариант.

Где же эта хваленая свобода?

Где слава?

Где деньги?

От одиночества хотелось выть, но признаться в этом даже самому себе было стыдно.

* * *

Вечером, перед началом выступления, он налил себе полстакана виски и разбавил его кока-колой. Пить в ресторане во время работы строго запрещалось, но Шура был возбужден, много курил, подсаживался к столикам, рассказывал уже всем надоевшую историю об отце, хвалил свою жену-менеджера, делился наполеоновскими планами. Потом подошел к хозяину и прямо в лицо ему сказал, что если тот не прибавит ему зарплату и не возьмет его официально на работу, то пусть пеняет на себя.

— Я уеду в Париж! Так и знай! У меня там друзей полно, меня обещали устроить в ресторан, где Алеша Дмитриевич пел. — Шура разошелся не на шутку, потом из кухни пришла Мирочка, она присела с другой стороны и вкрадчиво сказала, что если хозяин не согласится, то она знает, чем надавить на него. У нее уже накопился «компромат», она не слепая и видит, какие здесь делишки делаются, какие девушки в ресторане бывают и по каким адресам они ездят, сколько «левой» икры и водки продается, как расходы делятся и какая контрабанда плывет через границу. А еще хозяйка позволяет себе антисемитские выходки против нее, а хозяин только посмеивается и разжигает страсти анекдотами. Стоит ей обо всем этом заявить в полицию, как они на уши встанут и ресторан прикроют, а хозяина в тюрягу засадят.

Грузин внимательно ее выслушал и сказал, что подумает.

После этого разговора отношения с хозяином переменились, он стал дружелюбней, приглашал к себе домой, знакомил со знаменитостями радио «Свобода», Шура им пел, рассуждал о политике, делал умный вид, потом они несколько раз выезжали за город; к концу года хозяин прибавил денег и снял им за свой счет маленькую квартирку на другом конце города. Мирочку он раньше презирал, не замечал, в зал не разрешал выходить, немка-хозяйка вообще с ней не разговаривала, презирала и делала вид, что не понимает по-русски, а тут вдруг заговорила. Шура гордился своей женой; как она ловко этого «кацо» прижала! Видно, испугался, что о его мафиозных делишках узнают в полиции. Теперь нужно наблюдать, записывать, а потом напомнить, какие «рычаги» и «козыри» в руках у Шуры-Миры.

Зима была холодной, снежной и ветреной. У него заболело горло, поднялась температура. Лекарства были недоступны, слишком дорого. Позвонили хозяину, и тот сказал, что посоветуется со знакомым врачом, а пока пусть Шура сидит дома, пьет горячее молоко с медом и ставит горчичники. Мирочку он вызвал в ресторан для разговора. Якобы неожиданно возникло прекрасное предложение для Шурика и как глупо, что совпало с болезнью.

Врач приехал быстро, оказался милейшим человеком, не испугался их трущобы, поднялся пешком на шестой этаж. На вид ему было лет сорок, а может, и тридцать, пальто темное, шапка меховая (как немцы носят), говорит со странным акцентом, руки потирает от холода, присел на край матраца, глянул в Шурино горло, послушал легкие.

— Грипп с ангиной. Знаю, что у вас денег на лекарства нет, а это мое фирменное изобретение, чудодейственный напиток, настойка на ста травах. Пейте три раза в день, через неделю все как рукой снимет… Мы потом с вами рассчитаемся, поправляйтесь.

Старичок (а вблизи доктор выглядел за пятьдесят) улыбнулся в крашеные усы, пальто накинул и исчез за дверью. Шура расслабился, пузырек открыл, как велел врач, десять капель в полстакана теплого молока накапал. «Надо будет спросить хозяина, откуда у него такой симпатичный доктор Айболит?» Потом залпом выпил, горло приятно обожгло, во рту вкус мяты. В эту минуту раздался телефонный звонок, он снял трубку, хотел ответить, но выходил один хрип!

Через несколько дней Шуру отвезли в больницу, врачи сказали, что его связки воспалены,

голос вернется, но петь он вряд ли сможет. Исследовали пузырек с жидкостью, оказалась настойка из индийских трав. Допрашивали грузина, он уверял, что никогда никого не просил к Шуре ехать, доктора-старичка в глаза не видел. Полиция искала «доброго Айболита», но он исчез, допросила клиентов ресторана, которые хором говорили о неустойчивой психике Шуры.

Потом психолога подключили, выяснили через переводчика, что Шура подозревает отца: «Это он подослал отравителей из КГБ». Психотерапевт наблюдал, записывал и сделал вывод, что у Шуры маниакально-депрессивный психоз и что, видимо, он сам хотел покончить с собой.

Мирочка была в отчаянии, написала родителям, они ей звонили, звали приехать в Израиль. Там на Мертвом море есть чудодейственные грязи и знакомые врачи, которые Шурика поставят на ноги.

Но мысли об удаче их не покидали.

Совершенно неожиданно во Франции проклюнулись дворянские родственнички Шурика. Замаячили перспективы… Нужно все преодолеть, победить и въехать на белом коне в Париж!

Впереди их ждала свобода, слава и деньги!

# Часть вторая

## Призраки

Александр Сергеевич Голицын попрощался с гостеприимным домом и вышел в ночь. Метель колючей крупой больно обожгла разогретое в тепле лицо, запорошила бороду. Он покрепче под подбородком завязал уши пыжиковой шапки, поднял воротник старенькой дубленки и быстрым шагом двинулся вниз по улице Горького. Нужно было успеть к последнему метро. Он вспоминал разговоры за столом. Сегодня он провел приятный вечер в компании малознакомых людей, где он разговорился со странными людьми, и еще до прихода в гости ему кое-что померещилось. Это не выходило из головы весь вечер. Он должен проверить, наверняка это был какой-то световой эффект. «Фиг с ним, с метро, поймаю левака, а на площадь зайду». Александр Сергеевич прибавил шагу, пустынность центральной улицы столицы нагоняла страх и тоску. Впереди грустным силуэтом маячил памятник поэту.

— Александр Сергеич, глянь наверх, что гады-капиталисты со страной делают. На корню продают! Уууу, фашистские захватчики! — От неожиданности Голицын вздрогнул и попятился. Но, к счастью, эти призывы были обращены не к нему, а к великому поэту. Пьяный мужичок, в распахнутой куртке, с бутылкой в руке, вел диалог с Пушкиным. «Нет, ты только глянь наверх! Видишь, на крыше вчера был «Госстрах», а сегодня ихний «Мерседес-бенц» горит. Одна надёжа на тебя, Александр Сергеевич. Ты всегда спасал страну! За твое здоровье пью! А не то… всех убью, в подвал заведу и постреляю!» Мужик угрожающе погрозил кулаком кому-то в пустоту.

Голицын почти бежал, холода он уже не ощущал, вот и Манежная площадь, осталось совсем немного, каких-то сто шагов, и он сразу это увидит…

В черной декабрьской пурге на Красной площади, над купольной крышей здания Совета министров, где обычно в луче прожектора развевался красный кумач, трепыхался русский триколор!

Слабая подсветка шла рикошетным огнем от Мавзолея, где на глазах Александра Сергеевича

менялся караул. Стойкие оловянные солдатики, как заведенные механические игрушки, чеканили шаг, движения рук с ружьем, синхронные повороты тел на затекших ногах. Они напоминали ожившие ледяные призраки на вечной службе у «фараона».

«Значит, не померещилось». Александр Сергеевич замерзшими пальцами с трудом раскурил папиросу, метель усилилась, снежные вьюны стелились по всей площади. Когда он давеча здесь шел, торопясь в гости, то случайно глянул поверх стены и Мавзолея и увидел, как тихонечко красный флаг спустили и на его место русский подняли. Никто не обратил на это внимания. Жидкая толпица приезжих провинциалов, гуляющих по Красной площади, и судорожно снующих граждан в поисках предновогодней снеди в ГУМе, смотрела скорее себе под ноги, чем поверх кремлевской стены.

«Нужно будет завтра пораньше встать, очередь за мясом занять, соседка с пятого этажа список составила, а то без мяса на праздники останемся… Тьфу ты, чушь какая-то в голову лезет», — с досадой на себя подумал Голицын. Он постоял еще минуты три, докурил «беломорину» и повернул к гостинице «Москва».

Такси не было, но у подъезда дежурило несколько частников, ждали клиентов. Он постучал в ветровое стекло старенького «Жигуленка».

— До проспекта Вернадского подбросишь за пятерку?

Молодой парень, приоткрывший окно, поежился от холода, смачно сплюнул окурок и весело сказал:

— Нет, браток, десятку дашь, поеду, а то я из-за тебя богатого «кацо» провороню. Они сейчас с девочками из ресторана выкатятся, любые бабки дадут…

— Хорошо. Дам тебе десятку, поедем.

Парень лихо гнал, ночная безлюдная Москва освещала их путь редкими светофорами, несколько раз проскочили на красный свет.

— Не боишься, что остановят? — спросил Голицын.

— Так они же все пьяные, греются, уже Старый год провожают. Им есть что обсудить… Слышали, как сегодня по телику «лимонадный» Президент отрекался?

— Я в гостях был, у них телевизора нет, расскажите.

— А он в отставку подал, давно пора! Теперь наш Борис придет, все будет как надо. Через пять лет заживем не хуже Франции! Эхма! Дождались наконец, возрождается матушка-Россия, — парень охотно болтал, рассуждал о демократии, о ценах, о реформах Гайдара и о скорой конвертизации рубля, оказывается, Борис Николаевич сказал, что рубль будет крепче стали.

У Александра Сергеевича на душе от этого разговора стало спокойно. Значит не только интеллигенция, но и простой народ так думает, а главное, молодежь, хоть они другую жизнь увидят. Жаль, что мама моя не дожила до этих дней, как бы она радовалась, наверняка бы у телевизора сидела и следила за событиями. Кто бы мог предполагать, что ГКЧП провалится, а узник Фороса сегодня отречется? А еще он вспоминал необычных людей, с которыми он сегодня познакомился…

Шофер притормозил у нужного дома: «Ну, с наступающими праздниками вас!»

— Спасибо, вам тоже всех благ в Новом году. Вроде этот поганый високосный хорошо заканчивается, — и он машинально посмотрел на ручные часы. Стрелки показывали два часа ночи. 25 декабря 1991 года, в сочельник католического Рождества Россия заново рождалась.

* * *

Александру Сергеевичу было под шестьдесят, он работал на телевидении режиссером-документалистом. Работу он свою любил и считался хорошим профессионалом, два его фильма были отмечены особыми Государственными премиями, а один, о трудовых буднях советской милиции и сыскной работе органов, даже вошел в «Золотой фонд». Несмотря на его фамилию его допускали в спецхран Госкино в Белых Столбах, посылали на фестивали в ГДР, Болгарию и Югославию, а когда при нем шутливо начинали петь куплеты «поручик Голицын, корнет Оболенский…», он всегда поправлял, что никакого отношения его фамилия к князьям не имеет, что пишется она через «а» и происходит от слова «галлы», а может, и просто «галицких». Он и вправду по паспорту был «Галицын», но так его переделала в свое время мать, чтобы можно было выжить, слиться со всеми и не выделяться. Когда он был совсем маленький, в тридцатые годы, ей удалось записать его в школу под своей девичьей, невинной фамилией — Карпова (никто не догадался, что она тоже из «недобитков»), а в шестнадцать лет он получил паспорт с чуть измененной, но отцовской. Отца он помнил нечетко, его арестовали при нем, когда ему было три года. Потом они долго переезжали с места на место, ютились, следы заметали, удалось спастись. Мать много молчала, плакала, молилась, а когда Александру исполнилось десять лет, показала три фотографии отца.

Внешне он был вылитый отец. Среднего роста, худощавый, борода, усы, мелкие черты лица, красивые серые глаза; мама говорила, что у него семейный тип, все Голицыны на одно лицо.

Она приучила его не задавать вопросов, вся ее жизнь была подчинена страху за сына и желанию забыть прошлое, которое было ярким, счастливым, но об этом лучше не вспоминать, и сына нужно воспитать так, чтобы он вырос честным, но осторожным. Александр Сергеевич усвоил урок, он стал советским интеллигентом, довольно поздно женился (против воли матери) на совершенно чуждой ему женщине, которая родила ему сына. Жена его тоже работала на телевидении, в отделе кадров, некоторые ее боялись, но благодаря ей Голицын мог оставаться «не от мира сего», странным «князем», и его никто не трогал. Он вполне сознавал это, ценил в жене хватку, так было удобно, и хоть для его матушки она была «чужим» человеком, говорил ей, что так распорядилась судьба и «свою» половину в этой стране он не нашел.

Голицын любил исторические романы и стихи, в шестидесятые годы для него открылась Ахматова, потом Мандельштам. Он приходил к матери и читал ей вслух, а за два года перед кончиной она стала вспоминать свою молодость, родовое поместье, встречу с мужем, их первые счастливые годы совместной жизни. «Мама, почему Вы мне этого раньше не рассказывали?» Она только улыбалась в ответ, а он уходил от нее совершенно потерянный, приходил домой, молчал, выслушивал ворчание жены о переменах на телевидении, что «у нового поколения нет ничего святого, они думают только о деньгах, рекламе, хотят сожрать старшее поколение профессионалов и не поперхнуться». Перестройка-перекройка, гласность, ускорение, народ жаждал перемен в стране, а в мире они уже начались.

Александр Сергеевич мог просматривать на телевидении особые сводки новостей. Многое потом фильтровалось, не все монтировалось, но даже то, что «разрешалось» цензурой, вызывало изумление. Началось с брожения польской «Солидарности», Лех Валенса, уход Ярузельского… Это была первая победа христианской революции над коммунистами. Ченстоховская Богородица помогла полякам освободиться от ненавистного гнета СССР.

Венгрия стала свободной совершенно незаметно. Уже по программе «Время» показывали Будапешт, народ шел по улицам, все пели, танцевали, потом прокрутили старую хронику 56-го года, вспоминали «советскую братскую помощь».

Голицын с замиранием сердца всматривался в экран, он не понимал, какая сила движет событиями, что происходит с его страной. «Ну ладно, можно понять и объяснить смену власти в Польше и Венгрии, эти давно уже «в лес» смотрели, но чтобы в Чехословакии они опять танками не подавили? Невероятно!» Новая «Пражская весна» мирно состоялась на глазах всего мира. Миллионы чехов с зажженными свечами возносили благодарственные молитвы в костелах и на площадях!

Все ждали смуты и большой крови. Коммунисты грозили гражданской войной, а перестройка Горбачева катилась дальше, истинное лицо гласности и дружеские встречи с Рейганом успокаивали. Но Берлинская стена наверняка не упадет! На это «они» никогда не пойдут. Будет мировая война!

Жена Александра Сергеевича тоже все это переживала. Она очень хотела перемен, но таких, чтобы «показали этим соплякам, на чьей стороне сила». «Кто их в свое время освобождал от гитлеровских захватчиков, кто за них кровь проливал и из руин поднимал?! Неблагодарные сволочи. А Горбачев — предатель, вместе со своей Райкой продался с потрохами американцам». Семья Голицына раскололась на два лагеря, каждый день заканчивался бурными спорами, жена пила валерьянку, ночью Александр Сергеевич включал на кухне старенький приемник и впитывал сквозь заглушки «Свободу». То, что сообщали «голоса», звучало неправдоподобно!

Было ли это мистическим совпадением? Но 7 ноября 1989 года начались беспорядки в Германии, а 9-го с обеих сторон Берлинской стены немцы взобрались на нее, долбали ее, братались, обнимались с родственниками, которых не видели всю жизнь. Голицын не мог поверить своим глазам! Стена развалилась, состоялось объединение двух Германий, бежал Хоннекер. Потом ушли советские войска. Жена пришла с работы, достала из холодильника начатую бутылку водки и мрачно сказала: «Горбачев с Шеварднадзе предали нашу армию!» Потом, уставившись в одну точку, она медленно выпила полстакана, не закусила и, рухнув всем своим тяжелым телом на кухонную табуретку, зарыдала. Голицын не знал, как реагировать, он закурил и пролепетал: «Оля, успокойся, Бог даст, у нас войны не будет, а остальное все не важно».

Следующим бастионом крови и страдания была Румыния. «Ну уж Румынию наши никогда не отдадут. Чаушеску — калач тертый, он там устроит бойню, а советские генералы ему помогут!»— каждый день повторяла жена, Голицын перестал спать и, уже не стесняясь, все ночи напролет слушал «вражьи голоса». Прошла неделя, и по телевизору показали труп Чаушеску, все увидели «фараонов» дворец Главного вампира страны, возведенный на костях несчастного народа. Потом появились первые репортажи, показали детские дома, где здоровые дети содержались вместе с дебилами, стены и пол вымазаны калом, дети полуголые, в «старушниках» морили голодом, привязывали ремнями к стульям, разоренные деревни, крестьяне, впряженные в соху, пахали землю…

Осталось дело за Албанией. «Какая там революция, — думал Голицын, — для этой страны нужны десятилетия. Там люди доведены до состояния средневековой бедности и дремучести». Он знал одного албанца, которого в конце семидесятых чудом выпустили к ним на телевидение для стажировки. Он пробыл неделю, тупо молчал, пил горькую, отъедался сосисками и шарахался от машин, как от седьмого чуда света.

Прошло несколько месяцев, и в Албании начались народные волнения. Редкие репортажи показывали центр столицы. По пыльным улицам Тираны изможденные клячи тащили телеги, в них народ с палками, граблями, толпа на центральной площади, бьют стекла камнями, военные их поддерживают, кого-то в давке убили, но ни единого выстрела… «Нет, этого не может быть. Будет война!» — думал Голицын.

Скоро весь мир увидел свободную Албанию. Даже в скупых кадрах советской телехроники была заметна нищета. Ни одного автомобиля, поля изрыты траншеями, утыканы куполами дзотов в ожидании империалистического нападения. Вся страна долгие десятилетия жила в изоляции, готовилась к обороне, чтобы ни пяди своей поросшей бурьяном земли не отдать агрессорам, хотя албанские солдаты падали в голодные обмороки.

За всеми этими событиями сыну Александра Сергеевича исполнилось семнадцать лет, он закончил школу и теперь готовился поступать в институт. Он рос маминым сыном и в спорах семейных был целиком на ее стороне, к отцу относился свысока, считал неудачником, а потому его стыдился.

За прошедшие десять лет Голицын многое передумал. Он не мог себе представить, что события в мире пойдут по такому непредвиденному сценарию. Время торопило, все устоявшиеся ценности распадались, крепкие узелки связей перерезались невидимыми ножницами, откуда-то из прошлого, давно забытого, стали выплывать тени. У народа развязались языки, пропал страх, а с поражением ГКЧП он совсем исчез. В те августовские дни казалось, что все висит на волоске, это потом некоторые говорили, что дежурили ночами и строили баррикады, хотя сами отсиживались у телевизоров и выжидали. Сам Александр Сергеевич сутками работал в Останкино. Все происходило на его глазах. Жена взяла больничный, лежала дома, читала газеты, к телефону не подходила. Сын целыми днями где-то пропадал.

Близких друзей у Голицына никогда не было, коллеги по работе его уважали, но с ним не откровенничали. Однажды попробовал в командировке в Болгарии поболтать со своим оператором, они тогда снимали фильм о Шипке, видели русские могилы и, конечн, вспоминали историю. Рассуждения о прошлом России зашли далеко, так что сам Голицын разговор оборвал, а оператор после этого никогда больше в глаза ему не смотрел и личных контактов избегал.

Александр Сергеевич привык мысленно советоваться только с покойной мамой. Теперь он корил ее за то, что она была с ним неоткровенна, слишком оберегала, особенно от семейного прошлого. Он вспоминал, как они мыкались, сколько раз переезжали из города в город, жили в селах, голодали, мама болела, а он работал на заводе и учился в вечерней школе. Когда он ее закончил, то неожиданно пришла телеграмма от двоюродной сестры отца. Она звала их к себе, им удалось прописаться, потом он поступил в институт, а мать сумела устроиться в школу преподавателем французского языка. Редкими вечерами, когда соседей за фанерной стенкой не было, они могли беседовать о своем, он задавал вопросы, она скупо отвечала, смущалась и говорила: «Зачем тебе, Сашенька, этот груз? Прошлого не вернешь, а без него тебе будет в жизни легче. Никогда не оборачивайся назад и не жалей ни о чем». Но теперь, когда наступили другие времена, он все больше понимал, что так жить не может, а как нужно — не знал.

* * *

…Он шел по незнакомому городу, была ранняя весна, таяли сосульки на крышах, и, как в детстве, он отломил одну и сунул в рот, вкус ржавчины и холода обжег язык, но на душе радость. Потом поворот на маленькую улочку, вокруг никого, еще один пустынный

перекресток, он вошел в подворотню, двор-колодец, с четырех сторон мрачные дома, в углу помойка, он задрал голову и увидел квадрат светлого неба, за его спиной раздался приказ: «Предъявите ваши документы!»

Он знал, что бояться ему нечего, паспорт у него всегда лежал во внутреннем нагрудном кармане, он обернулся, перед ним стояло три силуэта, лица одинаковые, окаменевшие, выражение глаз пугающее.

С добродушной улыбкой Голицын суетливым движением полез за пазуху. Бумажника не было. «Неужели забыл дома?» И вдруг он сообразил, что у него украли паспорт именно эти люди! Это не милиция, а все те же странные призраки, они опять пришли за ним, и нужно как можно быстрее от них убежать. Он двинулся к арке, но с ужасом увидел, как из ее глубины на него наплывают те же тени. Они окружают его. Он кидается к ближайшей двери, рывком открывает ее и бегом устремляется вверх на шестой этаж. Топот ног, люди бегут за ним, их много, они хотят его арестовать. Вот он уже на крыше, они дышат ему в спину: «Ваши документы, Голицын! Вы ведь не тот, за кого себя выдаете! Нам это известно!» Но он знает, как спастись от них. Нужно оттолкнуться, сильно взмахнуть руками, высоко взлететь и быстро-быстро вырулить над городом. Голицын встает на цыпочки на самой кромке скользкой крыши, делает глубокий вдох и… падает в бездну.

Он просыпается.

Кошмарный сон повторялся теперь реже, но настигал всегда врасплох. В юности это снилось чаще, после женитьбы и рождения сына вообще исчезло, а после смерти мамы он опять стал летать во сне. Странно, что в этих новых сновидениях он испытывал радость полета и физическую уверенность в своих силах. Теперь он не проваливался в страшную бездну, а летел над полями, снижался, он видел домик, окруженный садом и цветником, здесь жили его родители, они стояли на пороге, махали ему, улыбались. Он притормаживал, ноги его утопали в мягкой луговой траве, он бежал с вытянутыми руками к ним навстречу, хотел обнять их, прижать к себе, но в руках оставалась их бестелесность, пустота, а сердце его наполнялось неизъяснимой радостью и трепетом.

Александр Сергеевич о своих снах никому не рассказывал, разгадывать их смысл не пытался, после таких ночей он больше курил и старался уходить с головой в работу.

Встреча и события, которые произошли 24 декабря, стали новой точкой отсчета времени для Голицына. Он вспоминал ночь на Красной площади и этих странных русских эмигрантов, теперь ему казалось, что они тоже пришли из снов, их рассказы о другой России были для него непонятны. Кто они? Почему в них сохранилось столько любви и веры, а у меня один страх? Эта немолодая пара русских французов впервые приехала в Москву. Им хотелось, может быть перед смертью, увидеть новую Россию, о которой они знали от своих родителей и из книг. В глазах у этих старых русских не было страха, они не боялись задавать вопросы. Александр Сергеевич удивлялся наивности и откровенности рассуждений этих людей, а сам ловил себя на том, что контролирует себя и опасается отвечать правду, ему было стыдно, потом он на себя злился. Вспоминались инструктажи перед поездками за границу, всегда предупреждали о скрытых врагах и возможных провокациях. Кто знает, может, и эти «наивные» русские парижане приехали собирать сведения? Но с ними было интересно говорить, они привезли с собой много книг, газет, рассказывали об эмиграции. Когда узнали его фамилию, радостно кинулись узнавать, не родственник ли он светлейшему князю Михаилу Кирилловичу Голицыну, они его хорошо знают, но Александр Сергеевич сказал, что, насколько ему известно, родственников за границей у него нет и наверняка это однофамилец (он опять ввернул свою поправку о букве «а), на прощание эмигранты записали свои адреса и телефоны, но Голицын

сказал, что дома у него телефона нет, дал свой рабочий и адрес телевидения. Именно так его учили, ведь письма из-за границы проверяются, а звонки, тем более, прослушиваются, никаких секретов от власти у него нет, а неприятностей себе и тем более жене он не хотел доставлять. Книжки и газеты, которые эмигранты ему подарили, он решил сохранить. Времена все-таки изменились, запрещенная информация лезла из всех щелей, он вспомнил, как в семидесятые годы ему кто-то дал почитать неизданные стихи Мандельштама, в самиздате. Он их прочел, но от греха подальше, и чтобы жена не обнаружила разорвал на мелкие кусочки и выбросил в мусорный бак во дворе.

Голицын знал, что никогда больше не увидит этих милых русских и, конечно, никогда не приедет в Париж, а потому бумажку с их адресом скатал в комочек и забросил подальше в бездонную неразбериху ящика письменного стола.

* * *

В последнее время на телевидении произошли перестановки, сменилось руководство, возникли новые требования к эфиру, а следовательно, и к режиссуре, появилась реклама, что вызывало бурную реакцию старой гвардии, его жена каждый вечер рассказывала, кто, как и за какие деньги «заказывает телевидение и хочет его прихватизировать». Голицын старался во все это не вникать, выполнял свою работу, еще больше курил, мало бывал дома и стремился в командировки по стране. В провинции, на селе все будто замерло, никакой перестройки, никакого ускорения, и это Александра Сергеевича успокаивало. Леность русской души и безразличие к столичной суете возвращало к вечным ценностям, так замечательно описанным у русских классиков. «Пока русский народ пьет, все будет хорошо, ни о какой революции думать не приходится. А то, что сейчас происходит вокруг, это временное явление, пройдет лет пять, и все обратно вернется на круги своя», — успокаивал себя Голицын.

Его утро начиналось с одного и того же: завтрак, новости по радио, газета, потом метро, работа и суета телеколлектива, уже поздно вечером он старался быстро перекусить и скрыться в своей комнатке. Жена его угрюмости терпеть не могла, в глаза ему говорила, что он не общественник и плохой отец, но зато друзьям, заглазно, важным голосом сообщала, что «Александр Сергеевич каждый вечер работает у себя в кабинете».

К своим шестидесяти годам он настолько привык жить по плану, что даже маленький сбой выводил его из равновесия. В этой событийной бессобытийности был особый уют, защищенность от непредвиденных обстоятельств. К жене он притерпелся, и она стала для него не то что ангелом хранителем, а настоящей крепостной стеной: охраняла от нападок начальства, от непрошеных гостей, своей активностью скрашивала быт и серые будни. Одно у нее не вышло — поссорить Голицына с матерью. Ах, как она мечтала после похорон выбросить все ее барахло на помойку. Не получилось.

Все существо Ольги было пронизано одержимой и удушающей любовью к мужу. Хоть она и говорила, что за годы, прожитые вместе, «они срослись душами», это было не так. Она стала безраздельной обладательницей его существа, но не души и не фамилии. Тут она не решилась испортить себе карьеру, осталась с девичьей, хватит одного поручика в семье, даже сын носил ее фамилию. К темным потайным кладовкам души Голицына она так и не подобрала ключей. Ее это раздражало и беспокоило.

Когда собирались редкие гости, Ольга Леонидовна всегда показывала пачки фотографий, на них она юная, пышнотелая, высокая, с длинной светлой косой, аккуратно уложенной венцом вокруг головы, — настоящая русская красавица. Голицын фотографироваться не любил, он на этих глянцевых черно-белых снимках выглядел грустным, а в выходном костюме, — почти как

актер в роли дореволюционного аристократа, на других карточках они втроем, вместе с сыном: вот толстый карапуз в коляске, потом в детсадике, пионер… Ольга всем говорила, что если бы не советская власть, то она бы не получила образования и не пробилась бы в люди. Она с гордостью делилась советами, как нужно воспитывать детей, приводила в пример их сына, главное, «никогда ни в чем не нужно сомневаться, сохранять принципы морали, оберегать семью от дурных привычек и разных влияний».

В молодости у нее было много кавалеров, но она выбрала А. С., он за ней даже не ухаживал, это она сумела его к себе прилепить. Расчета у нее никакого не было, ведь Голицын был беден и со странным прошлым. Родители Ольги были ее выбором не довольны, считали, что дочь совершила ошибку и предательство. Сколько раз ее отец прорабатывал, кричал, говорил, что она позорит семью и должна выйти замуж за военного, чтобы продолжить их династию. Отец даже жениха ей хорошего подобрал, красавец, кадровик, а если ему подсобить окончить Военную Академию, то светила хорошая карьера. Но Ольга уперлась и железно стояла на своем!

Прожили они вместе с Голицыным больше двадцати лет. Всем казалось — счастливо. Но никто не догадывался, что у Ольги Леонидовны где-то глубоко в душе жил страх, оттого что она до конца не знала своего мужа. Чуяла она, что есть у него какая-то тайна, охраняет он ее за семью замками. Почему-то подсознательно она связывала эту тайну с его матерью, и когда та умерла, Ольга облегченно вздохнула. Но прошло несколько лет, и беспокойство опять вернулось, особенно с последними событиями в стране.

И еще, единственный раз в жизни Ольга Леонидовна испытала чувство жгучей ненависти. Это была женщина. Дело могло дойти до крайних мер, но помог партком. Голицын вел курс в ГИТИСе, и студенты его боготворили, а одна из них, молодая из провинции девушка, сильно в него влюбилась. Она писала ему письма, он отвечал, эта переписка как бы случайно попала в руки Ольги Леонидовны. Она сразу поняла, что Голицын тоже влюблен. В письмах было много стихов, романтики и заумных мыслей, в общем, весь бред, который вскружил голову уже немолодому мужчине. Самое неприятное, а это стало известно О. Л., что мать Голицына эту влюбленную пару опекает. Встречаются они раз в неделю у нее на квартире. Ольга Леонидовна о том, что ей все известно, вида не подала, ночью скрипела зубами от вынашиваемой мести, в результате сделала все как нужно, друзья помогли — девушку из института исключили, из общежития ей пришлось съехать, и она укатила в свой Омск. Голицын понял не сразу, что произошло, а гораздо позже, когда его мать раскрыла ему глаза на эту историю. Он страдал, но время лечит, сердечная рана зарубцевалась, и его семейная жизнь потекла в прежнем русле.

Александра Сергеевича ценили на телевидении, а потому хорошо платили, у него были творческие планы, некоторые наброски в тетрадке, вот о них он и хотел пойти поговорить с завотделом. Если бы для задуманного было дано «добро», то он смог бы на год уехать на Байкал, с рабочей группой, с которой он не только сработался, но, пожалуй, как-то сросся за эти годы. В командировках они могли подолгу молчать или часами до хрипоты спорить о правильно отобранном кадре. До смысла жизни их споры не доходили, это было ни к чему, все и так ясно. Голицын, почему-то был уверен, что начальство с удовольствием согласится на его предложение. Пока он своими планами ни с кем не делился, тем более с женой, чтобы ее не расстраивать, хотя он заранее знал, что она все равно первая узнает о его заявке от начальства и неприятных разговоров дома не избежать.

Сегодня он ехал на работу в приподнятом настроении, на три часа его вызвал начальник, сказал, что хочет поговорить с ним о проекте. Неужели получится? Утренний вагон метро набит до отказа, люди — те, кто сидит, — все спят, те, кто стоит, — в дреме. Грохот колес и усталость от вечного недосыпа ввергал народ в летаргический сон. Голицын этому не

поддавался, сам с собой боролся, читал книжки и газеты. «Надо бы набросать некоторые мысли, перед тем как говорить с завотделом», — подумал он. Но ему не повезло, в вагоне от единственного свободного места на скамейке его грубо отпихнули, всю дорогу Голицын простоял, поэтому не мог достать из портфеля тетрадку. Ему очень хотелось получить длительную командировку на Байкал, кое с кем он даже заранее списался, его ждали, обещали показать заповедные места, познакомить с интересными людьми. За последнее время он настолько устал от событий, от нервного состояния жены, собственных бессонных ночей, что решения начальства ждал, как манны небесной. Эта поездка спасла бы его от непрошеных мыслей, в которых он не мог разобраться, а посоветоваться было не с кем.

* * *

— Проходи, Александр Сергеевич, садись, — радушно приветствовал его начальник. — Ну, как живем? Как семья?

Все это были банальные и ничего не значащие вопросы, такие же ответы. Голицын знал, что пройдет пять минут, его начальник запрет дверь на ключ, достанет из глубины книжного шкафа любимый коньяк «Плиска» и предложит ему выпить. Вот тогда и начнется серьезный разговор.

Телефон звонил непрерывно, начальник трубку не брал, на столе появились бутерброды, и янтарная жидкость разлилась по стаканам. Голицын терпеливо ждал.

— Слушай, поручик, мы ведь давно знакомы? Я тут вспоминал, когда с твоей заявкой знакомился, как мы вместе в командировках еще в начале семидесятых бывали. А помнишь ГДР? Какой мы там приз отхватили, потом в гостинице его обмыли так, что немчура долго нас вспоминала. Да-а-а… — Наступила неловкая пауза, начальник закурил, хлебнул коньяка, куснул бутерброд, рука потянулась за бутылкой, Александр Сергеевич молча слушал и не пил. — Понимаешь, я даже не знаю, как тебе сказать, ты ведь знаешь, что у нас теперь демократия (и он нецензурно выругался), а там наверху с нас тоже требуют. Короче! Как профессионала со стажем и грамотного человека, решили тебя выдвинуть на особый проект.

Голицын вдруг осознал, что все пропало. Отказали. Байкала не будет.

— В Париж тебя посылают, будешь снимать эмиграцию! Честно тебе скажу, что завидую тебе не белой завистью, а черной. Давай выпьем за это. Сценарий этого документального сериала уже почти написан, в основе — книга известного журналиста, он там долго в ЮНЕСКО служил, с эмиграцией встречался, ну а ты как гениальный режиссер все это обмозгуешь — и полный вперед. Конечно, дадим тебе опытного оператора и… переводчика, кстати, он же куратор проекта. Ты ведь по-французски не говоришь? А о своем Байкале ты пока забудь, он от тебя не убежит…

«Может, это все провокация? — мелькнуло в голове у Голицына. — Им стало известно о моем отце, а что еще хуже, о встрече с русскими эмигрантами. Все уже донесли. Наверняка следили и за ними, и за мной, книжки из помойки вытащили…» Александр Сергеевич очень испугался, сильно побледнел, но взял себя в руки и слабым голосом произнес:

— Как же так? Уже все за меня решили и меня не спросили? Я не справлюсь с возложенной на меня задачей. Считаю своим долгом честно отказаться.

— Э, нет, этот номер не пройдет! «Твой меч, моя голова с плеч»— так, кажется, гласит пословица. Неужели ты забыл, что у нас в стране кадры решают все? Вот одни кадровики и

решили за других, а такой кадр, как ты, самый подходящий на эту работу. Ты ведь не подведешь старого друга? Что ты хочешь, чтобы меня сократили за профнепригодность? Сейчас это быстро делается и с большим удовольствием. Так что жду от тебя немедленного согласия, вот и договор уже готов. Открою тебе секрет… — начальник при этих словах снизил голос до шепота и почему-то оглянулся на дверь: — это заказ политический, решалось все на государственном уровне.

Бред. Все сошли с ума! Что скажет Ольга? Она меня прибьет или сделает так, что меня вызовут куда надо, а с ними шутки плохи. Нет, хочу на Байкал, хочу просто убежать, все забыть, замереть и ни о чем не думать. И тут он услышал голос своего собеседника:

— С твоей супругой уже беседовали, куда надо вызывали, она дала на тебя самую положительную характеристику. Так что не подведи трудовой коллектив. Мне разрешаю привезти в качестве сувенира галстук с Эйфелевой башней.

Александр Сергеевич вышел из кабинета совершенно раздавленным. Мысли в голове путались и никак не могли выстроиться в логическую цепочку. Ему все мерещилось, что это какой-то заговор или особый хитрый ход, чтобы его выжить с телевидения. Нужно немедленно с кем-нибудь поговорить. Но с кем? Партком самораспустился, один кагэбэшник, которого все на телевидении знали, сгинул в неизвестном направлении, другой устроился в частную структуру. А Ольга все знала и молчала? Нет, не хочу я ехать в Париж! Что мне до парижских красот? Да и зачем себя разбазаривать на глупые темы об эмиграции. Кому это нужно? Все в прошлом, а история сама рассудит. Хотелось убежать, скрыться куда-нибудь подальше, отсидеться и переждать тяжелые времена.

Прежде чем вернуться домой, он решил пройтись.

На улице шел сильный дождь, но после разговора с начальником это было неким освежающим, благодатным омовением. Сегодня московский воздух был пропитан не только угарными выхлопными газами, но и неким ожиданием свершений. Весна, почти священная, как молодая кобылица, била копытом, ржала и призывала шалеющий от перемен русский народ к подвигам. Все уже сознавали, что назад в СССР дороги нет, а впереди маячили заманчивые перемены. Молодежь чего-то смутно хотела, вероятнее всего, много долларов и некой свободы, старики мрачно затаились. Все ожидали «спасителя» на белом коне, одним он представлялся неким Александром Невским в лице Жириновского или Солженицына, другим — новым Сталиным, с железной рукой, кое-кто надеялся на братскую помощь от загнивающего Запада. Тут мнения разделялись, какую помощь ждать и в виде чего, то ли обойтись гуманитарными посылками с колбасой или пойти дальше и прямо позвать «варягов володеть и править». Перед телевизорами и во время застолий народ выплескивал страсти, дело доходило до семейных рукопашных разборок.

Голицыну от разных мыслей и погоды на душе стало неожиданно весело. «Может, вся эта история с Парижем — некий знак от моей бедной мамы? И стоило все-таки дожить до такого дня, как сегодня!» — подумал он, и сам испугался этих революционных мыслей.

Черные тени снов стали растворяться и уходить в поднебесье. Груз памяти, давивший годами, сползал с плеч, как пустой рюкзак, черная дыра его убежища-квартиры (или, как он мысленно называл, лежбище), где он прожил десятилетия с женой и неблизким сыном, больше не пугала. Он неожиданно для самого себя шагнул в неизвестность, и произошло это в тот момент, когда он об этом перестал думать, а хотел совсем другого, уехать на Байкал. Подсознательно он давно убегал от прошлого, настоящее его пугало, свой мир был дороже всех перемен. Жена уже давно не раздражала, он с ней смирился и находил в этом некое удобство.

А тут эта история с поездкой в Париж. И странно, но впервые в жизни ему захотелось испытать себя. В чем? Он пока не знал. Впервые он решался на поступок. Какой? Он пока не осознавал. На душе стало тепло, как от весенних лучей. «Боже мой, неужели я увижу Францию? Как жаль, что мама не дожила до этого дня».

Последние события в стране о многом заставили Голицына задуматься. Сам он верил в великую Россию, о прошлом своей страны он знал мало, скорее из книг серии «Жизнь замечательных людей», жена его говорила, что история никогда не прерывалась и что революция принесла освобождение, а когда разговор касался его родителей, она злобно бросала, что «белые и красные одним чертом мазаны, а вшивая аристократия всегда была продажной, и мы ее сумели приручить». Ольга была права, и как ни смешно, но что касалось их семейного союза с Александром Сергеевичем, так оно и было.

Голицын посмотрел на часы, пора домой, нужно быстро дойти до ближайшего метро, а то Ольга в последнее время совсем превратилась в нервный комок, и все из-за сына, упрекала Александра Сергеевича в неспособности к воспитанию. Но это была их общая беда. За событиями в стране они его почти потеряли. Он перестал учиться, частенько не ночевал, неприятные голоса звонят по телефону, сын шепчется с кем-то, прикрывая трубку ладошкой, его куда-то вызывают, он убегает и пропадает на несколько дней. Приличный подросток, выросший в достатке и с правильными взглядами на жизнь, стал изменять семейным традициям. Он настолько отбился от рук, что Ольге Леонидовне пришлось обратиться к знакомому специалисту. Тот довольно быстро навел справки, немножко последили за мальчиком и выяснили, что он записался в одну организацию.

Ольга в этих новых «партиях» ничего не понимала, потому спросила специалиста, хорошо это или плохо. Он ответил, что это не страшно, лучше так, потому что среди этой молодежи много патриотов и православных, а не шантрапы в виде «дерьмократов».

Дождь кончился, Александр Сергеевич задрал голову и увидел, как по ясному догорающему небу мчатся легкие розовые облачка, подсвеченные закатом. Захотелось крепкого цейлонского чаю с зефиром… Он мечтательно закрыл глаза, и вдруг:

— Гражданин, предъявите документики!

Голицын вздрогнул, мечты о зефире улетучились. Перед ним стоял толстый, мордастый милиционер. На его прыщавой сальной роже играла ухмылка победителя.

— Ты куда прешь?! Не видишь, что здесь перехода нет?

— Простите, замечтался, — искренность ответа почему-то привела милиционера в бешенство.

— Мечтатель, значит! Ну-ка плати штраф, а не то поедем в отделение.

— Ну зачем вы так говорите. Я же не нарочно, просто не заметил, что здесь нет перехода. Если нужно, пожалуйста. Да ведь я готов заплатить штраф… — Голицын запаниковал, стал рыться в карманах в поисках денег, хлопать себя по груди в поисках бумажника. Мент угрожающе вертел в руках тяжелую палку ликвидатора, и наглость его бесовских глаз говорила о нехороших намерениях.

Во внутреннем кармане бумажника не оказалось, рублей в кармане тоже не было. Голицын вдруг вспомнил, что настолько был под впечатлением разговора о предстоящей поездке в Париж, что забыл на телевидении куртку. В ней остался бумажник с документами и деньгами.

— Слушайте, гражданин начальник, я забыл куртку на работе. Давайте я съезжу и привезу вам через полчаса все, что захотите. Простите меня, но мысли, работа, разные планы…

— Ну-ка в машину, и быстро!

Голицын обрадовался. Хороший парень попался, сейчас до работы подбросит, он наверх сбегает и мигом все доставит. Внутри милицейского «Жигуленка» было тесно, прокурено, удушливо воняло бензином, рация орала о сообщениях ДТП, перемежая их с милицейским матком. Тронулись, но поехали совсем не к Останкинской башне, и Александр Сергеевич вдруг спохватился, поздно сообразил, что его везут в другом направлении, в отделение милиции.

Прыщавый сержант сдал его на руки дежурному, приказал с него глаз не спускать, а сам исчез «на несколько минут».

— Вы мне позволите позвонить домой или на работу? Моя жена все вам расскажет и документы привезет, — волновался Голицын. Дежурный, не отрывая глаз от листа бумаги, составлял протокол задержания. Просьба Голицына упала, как камень на дно глубокого колодца. Потом дежурного куда-то вызвали, он исчез на целый час, телефон раскалялся от звонков. Голицын решил проявить инициативу и потянулся к аппарату, чтобы позвонить домой, но услышал резкий оклик дядьки в ватнике, тот, оказывается, сидел в углу и наблюдал.

— Руки на место! А не то…

Наконец вернулся дежурный, не поднимая глаз на Голицына, будто того и не было, продолжил рыться в бумажках, опять кому-то звонить.

— Я прошу вас, позвольте мне позвонить? — униженно переспросил он, вполне сознавая, что власть не на его стороне. Что им стоит разрешить или нет? И почему не разрешить? — Ведь я преступления не совершал, никого не побил, не оскорбил… Опять без ответа. Дежурный его слов будто не слышал, в который раз переспросил: фамилия, имя, отчество… Неожиданно на деревянном лице мента появилось оживление, и опять это противное издевательское замечание по поводу «поручика Голицына».

— Товарищ сержант приказал с вас глаз не спускать, пока он не вернется.

— А когда же он вернется?

— Не знаю, — вяло бросил дежурный. — Он по вызову уехал.

— Так что же, может быть, мне здесь всю ночь сидеть?

— Нет, не здесь, — хмыкнул парень, — и не ночь, а пятнадцать суток.

Сердце бедного «поручика» затрепетало, оно почуяло недоброе, что-то страшное, безысходное. Западня! Александр Сергеевич взмок, отер ладонью холодный пот с лица и вдруг вспомнил, как будто он это уже переживал, такие люди с ним уже говорили, унижали, угрожали, ему было страшно, потом он их обманул и спасся. Ну да! Как же он забыл?! Ведь это было в его снах, кошмарах, люди без лиц, призраки в сером, погоня, крыша, полет над городом.

Голицын только понаслышке знал, что бывает с несчастными гражданами, задержанными на пятнадцать суток. Но ведь они бывали в нетрезвом виде, а он чист как стеклышко. Он может на них дыхнуть, или алкогольный тест пусть проведут. Нужно срочно что-то предпринять. Зачем

они так с ним говорят, что он им сделал?

— Может быть, вы не знаете, но я снимал фильмы о Петровке 38, одна картина даже завоевала золотой диплом в Берлине. У меня много знакомых… Почему вы так со мной разговариваете, угрожаете? Я ведь не преступник!

— А этого никто не знает, господин поручик. Вот и фамилия у тебя странная, хоть ты и говоришь, что она не так пишется и что ты известный режиссер. Пока мы этого не установили. Посидишь, подумаешь, может, чего вспомнишь. Так в нашей профессии часто бывает, будто на вид невинный прохожий, а как копнешь глубже, на поверку окажется вор или диверсант.

«Наверное, нужно себя сильно ущипнуть и тогда я проснусь, — думал Голицын. — Мои страшные кошмары вернулись ко мне из-за пережитого потрясения в связи с Парижем. Я во сне и сейчас усилием воли прикажу себе проснуться, чтобы вынырнуть из этого ужаса. Так. Спокойно… Я у себя дома, жена храпит рядом, сейчас ночь, в темноте на ощупь я проберусь на кухню, заварю себе чай, выйду на лестницу и покурю».

Дежурный громко зевнул, сплюнул на пол, придавил окурок в пепельнице и посмотрел на часы. Было около одиннадцати вечера. Голицын представил, как волнуется жена, вероятно, она обзвонила уже всех знакомых, теперь очередь моргов и милиции. Он понимал, что «выступать» в такой обстановке не следует, но если все обойдется, то он этого так не оставит. Он потребует расследования, позвонит знакомым, а жена нажмет на все свои связи в КГБ. Хотя? И тут он вспомнил рассказ о том, как недавно в Питере умер от побоев в вытрезвителе знаменитый киноактер Ю. К., что об этом вопиющем случае трубили газеты, разные адвокаты и именитые друзья Ю. К. пытались наказать милиционеров, но все спустили на тормозах, виновных так и не нашли, не разжаловали, а сказали, что власть всегда права и что дискредитировать ее никто не позволит.

Да, он был в западне. И выхода из нее не было. Клетка скоро захлопнется, и что будет потом, совершенно неизвестно. И вдруг его пронзило, что это все специально подставлено КГБ, чтобы его спровоцировать и никуда ни в какой Париж не пускать. Они давно в курсе всего, подслушивали их разговор в кабинете начальника на телевидении, у него в столе вделана подслушка, сам этот начальник наверняка из них, а потому проверял Голицына, как тот будет реагировать на предложение: лояльный он или нет? Как он сразу не понял, что все это провокация? Нужно было сразу отказаться, написать заявление и бороться до конца за поездку на Байкал. А он-то, дурак, слюни распустил, расслабился, а теперь будет совсем плохо, его вывели на чистую воду, поняли, что он подсознательно только и мечтал о Париже, а то почему же он так легко согласился на это предложение. Нужно дать понять этому парню милиционеру, что я все понял.

— Слушайте, я готов никуда не ехать. Отпустите меня домой… Я обещаю, что никто не узнает о нашем разговоре. Хотите, подпишу бумагу, готов пойти на любое сотрудничество, готов чистосердечно признаться… — бормотал в растерянности Голицын.

Дежурный паренек вдруг повеселел, встрепенулся и внимательно прислушался к жалкому бреду Голицына.

— А это ты о чем, гражданин поручик? Я что-то ничего не понимаю, какую бумагу ты собираешься писать? Хочешь к начальнику пойти? Могу устроить, — и его рука потянулась к телефону.

— Нет, не нужно звонить. Я лучше напишу здесь, а потом вы отнесете это к начальству. Мне

нужно с мыслями собраться. — Голицын от волнения курил одну папиросу за другой, его било мелкой дрожью, и так прокуренный серый цвет его лица превратился в зеленый.

Молодой мент смотрел на поручика победителем, он, видимо, сам не ожидал, что простой гражданин, задержанный случайно, может оказаться важной птицей; мелькнуло, что, может быть, этот шизик и вправду шпион; пока он будет строчить свой «роман», нужно сбегать наверх.

Александр Сергеевич решил написать все! А главное, чтобы они поняли, что он хочет одного — нормально жить и работать, как прежде, что он лояльный и свой гражданин, что он никогда не интересовался поездками за границу, что он полон планов работать только в России, а поступившее предложение поездки в Париж крутить фильм об эмигрантах исходило не от него. В общем, он должен так написать, чтобы снять все подозрения не только с себя, но и с жены, которая может через него пострадать. Дописывая пятый лист своего сочинения, он машинально посмотрел на стенные часы. Стрелка приближалась к цифре два. Он ужаснулся и представил, что происходит у него дома, более того, он настолько был поглощен доносом на себя, что не слышал и не видел, что происходит вокруг. А жизнь 125-го отделения милиции города Москвы между тем кипела: привозили пьяных, бомжей, проституток, малолетних воришек, воздух тесного, обшарпанного помещения был пропитан не только перегаром и запахом мочи, но и густым матом, орало все, телефон трещал не переставая… Эти шумы милицейских будней не долетали до слуха и сознания Голицына, к реальности его вернул знакомый резкий голос. Женщина сильной, знакомой рукой трясла его за плечи, она плакала, причитала, кому-то угрожала и требовала. Он узнал ее, это была его жена.

— Саша, Саша! Я нашла тебя, я покажу этим негодяям, я их в порошок сотру, что ты тут пишешь, дай мне это немедленно, — она судорожно собирала рассыпанные на столе листки и рвала их на мельчайшие кусочки. Дежурный по отделению стоял рядом с перекошенным от страха лицом и наблюдал эту сцену. Видно, уже кто-то позвонил кому-то и приказал немедленно отпустить задержанного, ну и наверняка будет кому-то разнос за самоуправство, но он-то ни при чем, ведь не он его на улице задержал, а он только исполнял приказание сержанта выбить из поручика не только душу но и баксы, наверняка у такого вшивого интеллигента есть «капуста». Ну, провел бы он ночку в холодной камере, был бы сговорчивей, дали бы ему наутро с женой поговорить, она бы привезла в подоле выкуп за своего благоверного. Вот тебе и «поручик Голицын, корнет Оболенский…», а тут прокольчик вышел, что-то в этом налаженном и проверенном годами бизнесе неожиданно сорвалось.

Ольга Леонидовна укутала плечи мужа своим огромным пуховым платком и, крепко держа под руку, вывела на улицу. Перед самым выходом из отделения милиции их ждала «Волга».

## Шум прошлого

Ах как много воды утекло с тех далеких дней, когда Шурик был коварно отравлен и потерял голос! С тех пор развалился СССР, Германия объединилась, а Шура поправился, только голос у него теперь хрипловато низкий, зато от этого кажется еще более сексуальным. Поклонницы ресторанные на него, как мухи на мед, летят, кокетничают, ухаживают и автограф на память просят. Город и ресторан Шура давно сменил, и живут они теперь в Берлине, конечно в Западном секторе. Русские врачи в Тель-Авиве сделали настоящее чудо — когда Мира мужа к ним привезла, то никакой надежды на спасение Шурика не было. Но наши специалисты «лучшие в мире, им аналога нет нигде» — так уверяли Миру ее родители, она им поверила и оказалась права. Шуру вернули к жизни! В Израиле они прожили полгода, больше невозможно. Разные причины побудили их вернуться в Германию: оформление документов, трудности с языком и культурным уровнем населения Ближнего Востока (это Мира сразу

усекла), а самое главное, что родители ее стали болеть. Она их обожала, но ухаживать за своими «стариками» Мирочка предпочитала на расстоянии, тем более что все силы и деньги уходили на восстановление здоровья Шуры. Родители сокрушались, что их дочь и зять уезжают, но у них своя жизнь, здесь в Израиле обстановка неспокойная, главное, чтобы их дети были счастливы.

В Берлине им повезло, и Шура опять устроился петь в русский ресторан, теперь хозяевами были поляки. Он вспомнил школьные годы в Польше и худо-бедно мог с ними «найти общий язык», Шуру они уважали, платили «по-черному», разрешали столоваться вместе с Мирочкой в ресторане и уносить кое-что из еды домой. В Берлине после объединения обстановка изменилась, появилось много русских бизнесменов, наезжала актерская братия из Питера и Москвы, жизнь кипела и призывала к действиям. Мира решила тряхнуть стариной и заняться коммерцией. Конечно, ее привлекал ювелирный бизнес, но тут уже все было схвачено. Ее познакомили с эмигрантом, владельцем антикварного магазина, который успешно торговал иконами. Мира была уверена, что ее советский опыт и деловитость смогут пригодиться на этом поприще. Владелец оказался очень крупным перекупщиком и в свое дело пускал только серьезных людей. Как Мирочка ни куражилась и ни строила из себя опытную львицу, он ее сразу раскусил, а потому держал на мелких и незначительных операциях. Однажды она возмутилась и решила свой характер проявить, высказать «все накипевшее этому людоеду от бизнеса». В ответ ее унизили, сказали, что здесь «не советский гастроном и колбасным дефицитом из-под прилавка здесь никого не удивишь». Хозяин антикварной лавки посоветовал ей подучить язык, лучше узнать законы страны, а как начало путевки в жизнь предложил пойти на курсы продавщиц. «Ну нет! — возмутилась в душе Мирочка. — Никогда она не упадет так низко! Не для этого я драпала из СССР, чтобы стать здесь мелкой сошкой за прилавком. Переждем трудные времена, а там что-нибудь придумаем».

Жить на ресторанные чаевые Шурика было трудно, они снимали в Берлине маленькую убогую студию в полутрущобном квартале, который, как ни странно, считался модным среди туристов. Здесь давно осели «прикольные» художники, музыканты, раскрашенные во все цвета радуги панки и наркоманы. Общаться с соседями Мира-Шура не могли: с одной стороны, язык плохо понимали, а с другой — они эту местную «богему» презирали. К немецким артистам и художникам ходило много иностранцев, частенько приезжало телевидение, устраивались выставки, концерты, берлинский «скват»[5] жил бурно, а Шура-Мира — своими русскими задушевными посиделками. Съехать на другую квартиру денег не было, ресторанная атмосфера затягивала, найти что-то более достойное было невозможно, творчески «дышать» в такой обстановке становилось все труднее.

Шурик на десятый год жизни в Германии вдруг понял, насколько русские отличаются от немцев. Недаром же гласит пословица: «что немцу здорово, то русскому смерть». И потом, всему миру известно, что русская культура и искусство знаменитей всех культур! Об этом он часто с посетителями ресторана спорил, приводил в пример своего отца, бабку-профессоршу, а в ответ многие ему советовали попытать счастья в Париже. Ведь французы — почти побратимы с русскими, у них революция тоже была, своих царей они, как и мы, поубивали, потом объявили свободу, равенство и братство, даже ихняя компартия с нашей в тесной связи. И еще (это Шура недавно узнал), во Франции защищают права меньшинств, любят русскую душу и эмигрантов.

В одно серенькое утро Мирочка выпила чашку кофе, закурила сигарету и задумчиво произнесла:

— Шурик, помнишь, нам кто-то говорил, что у тебя есть родственники в Париже? Может быть, эти старые «осколки» эмиграции захотят увидеть своего племяшу? Ты им на гитаре русский романс сыграешь, а я присмотрюсь к тамошней обстановке, может, чего и выгорит. Махнем к

ним в гости? Вот только адресок нужно раздобыть.

Шурочка не возражал, уже давно он передоверил жене свою судьбу. Бывали, конечно, ситуации, когда он пытался брыкаться, изображать из себя настоящего мужика, но слов: «Что бы ты без меня делал?» — мгновенно все расставляли по местам. Действительно, он без Мирочки давно бы погиб, спился, сблядовался (он ей втихаря изменял). Низкими, мелкими словами ей удавалось воскрешать в Шуре ненависть к отцу, Наде, дочке и оставленной стране. Этот «ностальгический» костерок постоянно нуждался в дровишках. А то ведь можно впасть в уныние и начать думать о том, что зря уехали и что там не так уж было плохо. Шура верил, что он спасся только благодаря Мире. Пусть там все провалится в преисподнюю, там одно хамство и грязь, люди — говно, правительство — говно, страна нищенская, а мы должны думать о наших будущих детях. Странно, что их жалкое эмигрантское прозябание никогда между ними не обсуждалось. Считалось, что это как бы в порядке вещей, все через эти временные трудности проходили. Нужно, чтобы им повезло, а уж когда это произойдет, то Шура-Мира позвонят в Питер и похвастаются актерской семейке о своих победах. Шура до сих пор отцу завидовал, но в силу своей подлой душонки частенько использовал его имя для собственной рекламы. Ведь все русские эмигранты знали его отца, видели в разных фильмах, читали с ним интервью, а совсем недавно отцу стукнуло 75, и по русской телепрограмме передавали грандиозный концерт в честь этого юбилея. Море цветов, поздравления знаменитостей, певцы, комики, политики… В течение двух часов Шура не мог оторваться от экрана.

Идея найти парижских родственников оживила их жизнь, вдохнула новые силы, впереди замаячила цель. Мира списалась с кое-какими знакомыми, они ей раздобыли искомый телефон и адрес. Ну а потом дело техники: Шура под диктовку написал трогательное письмо, напомнил о бабке и отце, приложил несколько своих фотографий в цветастой косоворотке и с гитарой. Через месяц они получили ответ. В письме, написанном по-русски «дорежимным» почерком, говорилось о волнении, которое испытали «родственные души», получив письмо от внучатого племянника Шуры, и как они были бы рады познакомиться, приглашали приехать в гости.

Почему-то Шурика это письмо взволновало, на него пахнуло чем-то незнакомым и таинственным. Всматриваясь в нарядный конверт и необычный почерк, он старался представить этих старичков, но дальше образов, выведенных в советском кино о буржуях, фантазия не работала.

Сборы были недолгими, из ресторана Шуру отпустили на три дня. До Парижа решено было ехать автобусом, потому как билеты на поезд стоили дорого. Всю ночь они «прогудели» со случайными попутчиками-хохлами, трепались, пили дешевый виски, в пять утра приехали в сонный Париж. Голова раскалывалась от боли, глаза слипались, и когда они оказались на тротуарах вечного города, им было не до его красот.

Нужно было где-то пересидеть, доспать, а в двенадцать часов позвонить в дверь родственников.

* * *

Граф Сергей Сергеевич Б. родился в 1915 году в Петрограде и в эмиграцию был увезен ребенком. Семья графа не относилась к той части русской эмиграции, которая бедствовала в Париже, им удалось еще до революции переправить кое-какой капитал за границу, вот почему Сергей Сергеевич получил хорошее воспитание и образование. Он знал много языков, и на протяжении всей его жизни это оказалось для него настоящим кладом. Во время Второй мировой войны он служил во французской армии, дослужился до капитана-лейтенанта и попал в плен к немцам. Пересыльный лагерь для военнопленных находился под Дрезденом. Содержание в нем не было похоже на ужасы Дахау или Освенцима, немцы разрешали даже

посещения родственников. Именно тогда к нему приезжали кузина и мать. Сергею Сергеевичу в лагере знание языков необыкновенно пригодилось, он выполнял обязанности переводчика с английского, русского, немецкого, французского и даже польского… Временный лагерь под Дрезденом оказался вполне «идиллическим» по сравнению с тем, куда его перевели потом. Это уже были настоящие ужасы, как в кино, с овчарками, эсэсовцами, изнурительным трудом и голодом. Здесь он познакомился с множеством русских собратьев, как эмигрантов, так и пленных красноармейцев. Они к нему относились с уважением и называли «товарищ граф». Некоторые из советских военнопленных уговаривали его вернуться в СССР, обещали повышение в чине и блестящую карьеру. На его счастье, он не согласился. Сергею Сергеевичу повезло, он выжил, а освобождение лагеря пришло от союзников, вместе с американскими войсками. Неизвестно, как сложилась бы его дальнейшая судьба, окажись он в объятиях «русских освободителей», уже позднее он узнал, сколько пленных из подобных лагерей было переправлено на родину прямиком в ГУЛАГ. После войны он продолжил карьеру в армии. Уже в чине полковника он служил до самого 1948 года в оккупационных французских войсках в Германии. Хитрая военная политика Сталина запудрила мозги и притупила бдительность многих русских эмигрантов, казалось, что в СССР что-то меняется, некоторые даже взяли советские паспорта и вернулись на родину, но березки встретили их неласково, многие из заманенных навсегда сгинули в лагерях. Графа тоже после войны стали одолевать сомнения. Тоски по родине не могло быть, потому что он ее не знал, но всю свою жизнь он прожил в окружении русских-французов, где бесконечно спорили о старой России, шпионских проделках ЧК, коварстве Сталина и власти Советов. Пословица «где трое русских, там четыре политических партии» вполне подходила к тогдашней эмиграции. Ведь русская душа, как ни одна в мир, испытывает по отношению к своей матери-родине смесь эмоций: надежды, разочарования, ненависти и ностальгии.

После 1950 года военная карьера Сергея Сергеевича была отмечена, и он получил предложение поступить на дипломатическую должность в ООН, где ему надлежало заниматься проблемами европейской эмиграции. Поэтому он жил то в Женеве, то в Нью-Йорке, а ближе к пенсии окончательно перебрался в свой любимый Париж.

Все в жизни графа сложилось как нельзя лучше, кроме одного — у него не было детей. Сразу после войны он женился на красивой и очень богатой француженке, на пятнадцать лет моложе его. Жена его обожала, выучила, как могла, русский язык, перешла в православие, пекла по старым рецептам куличи, красила яйца и делала пасху. Она тоже страдала от отсутствия потомства, а потому с головой ушла в благотворительность, помогала бездомным, отправляла посылки африканским детям (даже думала усыновить арабчонка). Ирэн происходила из древнего французского рода и унаследовала крупный капитал, не только в недвижимости, но и в фамильных драгоценностях. Характер у нее был твердый, воспитанная с ранней юности в католических пансионах, она любила порядок во всем, и несмотря на то что никогда не нуждалась в деньгах, тем не менее искала цель в жизни. Полезное приложение своей энергии она обрела в благотворительности. Она создала ассоциацию, стала ее президентом, и многие богатые французские дамы с особым ражем влились в ряды этой структуры. О них писали в прессе, показывали по телевидению, к ним обращались за помощью… Сергей Сергеевич всегда относился к деятельности жены благосклонно, взамен она уважала его капризы. Ирэн очень любила своего Сержа. Он был изящен, красив, ее богатство удачно дополнялось его карьерой, а потому их союз вызывал у многих зависть.

Ирэн, при всей вынужденной любви к щам и каше, никогда не смогла привыкнуть к эмигрантским друзьям своего супруга. Разговоры за столом хоть и велись по-французски, но на совершенно чуждые ей темы, чаще всего они походили на масонские заговоры, решалась политика будущей России, состав правительства, кто с кем, кто против, кто друг, а кто враг.

Ирэн было скучно и страшно, а потому однажды она сама предложила Сержу встречаться со своими друзьями в ресторане каждый четверг. (После распада СССР кое-кто из них уже побывал в Москве, а некоторые даже совершили паломничества по монастырям.)

Перелистывая семейные альбомы, вглядываясь в пожелтевшие фотографии, граф частенько вздыхал: «Ах, какие благородные лица, таких уж нет». Под каждой из них подпись с именем, датой рождения, смерти, родословную семьи Сергей Сергеевич выучил назубок. По рассказам родителей он знал, что в СССР у них есть родственники, правда, доходили слухи, что кое-кто из них был арестован и сгинул в лагерях, но были и такие, которые выжили, хотя связь с ними так и не наладилась. Письма из СССР в Париж писать было опасно («родственники за границей»!), а получать «из-за бугра» — еще страшней. Теперь наступили другие времена, и Сергей Сергеевич стал подумывать о наведении русских семейных мостов.

Огромная барская квартира графа была настоящим музеем. Предметы подобраны с большим вкусом, много старинных гравюр на стенах, семейные портреты, севрский фарфор, ампирная мебель. Вся атмосфера этой квартиры, где они с супругой прожили около сорока лет, дышала богатством, обжитым уютом и роскошью, множество изящных безделушек напоминали им не только о предках, но и о путешествиях. Выйдя на пенсию, он не умирал со скуки: кроме встреч с друзьями за бриджем, походов в ресторан, ежедневного чтения английских и французских газет и пеших прогулок, у него была одна страсть, подавить которую он не мог ничем — он обожал казино.

Граф страдал настоящими игорными запоями, зеленый ковер его гипнотизировал, он много проигрывал, реже выигрывал, остановиться не мог, а потому жене врал, что всегда срывал «джэк пот».[6]

Когда они жили в Женеве, то почти каждый день после работы Серж садился в автомобиль, пересекал границу с Францией и через пятнадцать минут оказывался в знаменитом местечке Дивон, этакой микромекке Монте-Карло. Как только он переступал порог казино, начиналась его вторая жизнь. «Одноруких бандитов»[7] он не признавал, играл только на зеленом сукне. Особая шуршащая тишина, мужчины, женщины разного возраста, богатые и не очень, арабские шейхи, итальянские мафиози, женевские пенсионеры, случайные туристы… Толстые шейхи с гаремом развлекаются тем, что проигрывают миллионы, а когда выигрывают, кидают через плечо, как кость собаке, одной из жен «плак д'ор»,[8] она ловит на лету миллионный выигрыш, и он исчезает в глубоких карманах чадры. Странно, что мужчины на красивых женщин внимания не обращают, а они вьются только за спинами удачников, им иногда тоже, как кошкам рыбка, перепадают фишки, но шейхи кидают только своим «барышням», зачехленным. Кое-кто из игроков пытается делать ставки сразу на нескольких столах, у всех своя манера, нужно успеть, седьмым чувством уловить счастливый номер. Все глаза устремлены на зеленый ковер, напряженное ожидание, крупье бессознательно ловким движением запускает шарик, рулетка беззвучно вращается, десятки глаз следят, будто собирают последние силы перед броском, противно холодит под ложечкой, глоток виски, затяжка, кто-то в последнюю секунду делает ставку. Крупье отстраненным голосом: «Господа, ставок больше нет… Вышел номер 15, нечетная, черная…» Вдруг повезет? Но шарик с костяным лязгом падает на другой номер, разноцветные кружочки сгребаются лопаточкой, перед счастливцем вырастает пирамидка.

Игра затягивает, как любовный омут, остановиться невозможно, нужно победить, перебороть неудачу… Только в этом исчадии ада понимаешь, что большая игра важнее секса!

Сергея Сергеевича здесь знали все, более того, не только встречали шампанским, но даже когда он проигрывался в пух и прах и наличных денег уже не было, от него принимали чеки.

Зато, когда он выигрывал, щедрее игрока было трудно сыскать, направо и налево сыпались чаевые, шампанское лилось рекой, угощались все подряд.

Ирэн, конечно, знала все! Но ради собственного покоя смогла убедить себя, что Серж всегда в выигрыше, о чем постоянно хвасталась друзьям. Однажды за вечер он проиграл двести тысяч франков. Вернулся под утро сильно навеселе, с огромным букетом роз и бутылкой шампанского. Ирэн сразу поняла, что дело плохо, но виду не подала. Вот какая она была мужественная женщина!

Все это было так давно, что сорняком поросло. Сейчас уж было не до рулетки и не до ночных безумств. Несмотря на преклонный возраст, граф Б. сохранил бодрость и любовь к пешим прогулкам. Каждый день, при любой погоде, в течение двух часов, вооружившись палкой с костяным набалдашником или зонтом-тростью, он мерил мостовые Парижа. Граф ходил один, так лучше думалось, а красота города, веселая суета парижан и туристов всегда поднимали настроение.

Сегодня он свою прогулку отложил, потому что к завтраку ожидался приезд гостей.

Они с женой волновались, это было настоящим событием в их жизни — русские родственники из Германии!

С утра граф пребывал в приподнятом настроении, одет по последней моде, в легкий итальянский пиджак, вместо галстука шелковый шейный платок, Ирэн в очень скромном и очень дорогом платьице от Диора хлопотала вокруг стола. Сергей Сергеевич, сидя в глубоком кресле, просматривал кипу газет и как бы машинально тихонечко напевал: «Бойтесь женщин, бойтесь женщин, господа, ведь у них между ног есть п…а. Ха, ха, ха…»

— Фи, Серж! Я умоляю Вас, оставьте эти армейские шуточки. Подумайте, что сейчас к нам придет молодая, скромная пара, а Вы настроены несерьезно и несете черт знает что!

Граф своего фривольного настроения совсем не стеснялся, впрочем, так же как и философского безделья. Он гордился своими прошлыми победами на сердечной ниве. А разные словечки и шутки он обычно отпускал, находясь в бездумно-радужном настроении. Неожиданное появление родственников всколыхнуло эмоции.

— Ирэн, душка, не обращайте на меня внимания. Я волнуюсь… плесните-ка мне немного виски со льдом.

* * *

Они появились на пороге квартиры, как два побитых градом котенка. Они втекли в уют, тепло и достаток. Им сразу все понравилось.

«Слушай, я ошалела. Мы где? В раю? — незаметно зашептала Мирочка. — А сколько красивых вещей. Как в музее!» Описывать ее представление о рае не стоит, он состоял всего лишь из богатства, чистоты и ласки старичков, но это было полной неожиданностью. Можно было ожидать каких угодно родственников, но не таких!

Поначалу было непонятно, как себя вести, куда сесть, нужно ли разуваться. Оказывается, в таком доме это не принято, хозяйка сказала, что у них не в мечети, повела в гостиную, навстречу поднялся очень симпатичный старикашка со стаканом в руке. Восторги, объятия, приветливые слова, их усадили на роскошный диван, и они утонули в шелковых подушках.

— А почему, позвольте спросить, Вас зовут Шурик? — со смешным картавым акцентом обратился к ним граф. — Это что за имя?

— Ну так это от Александра, Саши… Меня так с детства кличут. Бабуля московская и дед меня всегда Шуриком называли. Говорили, что это нежнее, чем Александр. А еще они мечтали всегда о внучке, хотя у них есть одна, ее Ланочкой зовут, но потом с ней одна история вышла… — Тут Мира сильно надавила каблуком на его ногу, и он понял, что дальше лучше не продолжать.

— Как странно, а мне тоже нравится имя Александр. В этом есть нечто воинственное, мужественное. Ведь и у французов есть такое же имя, — Ирэн хлопотала вокруг апперитивного столика и с нежностью поглядывала на застенчивую парочку. — А тепер, Серж, мы должны выпить шампанского в честь нашего знакомства и восссоединения семей!

Шура залпом опрокинул бокал. На голодный желудок и после ночного перепоя кислая французская» шампуза» ударила в голову. Стало приятно, будто Боженька босыми ножками пробежал по душе.

Разговаривать было трудно, да и не о чем. Он вспомнил, как много лет назад приехал к отцу в Ленинград и совершенно не понимал их языка, а тем более разных заумных тем. Вот и теперь ему было неловко в присутствии этих старичков. Может, оттого, что эти «осколки» с акцентом говорят? Хотя нет, что-то тут другое. Таких людей он видел впервые: вроде бы и русские, а на самом деле иностранцы, жесты и манеры, как во МХАТе, держатся не надменно, а просто, как наши интеллигенты, обставлена квартира, как в Эрмитаже, а у тех все венгерские гарнитуры да рухлядь с книгами. Интересно будет с Мирочкой все это обсудить.

Уже за огромным обеденным столом он рассказывал об отце — только хорошее, о бабке — только положительное, о своей творческой судьбе — только несчастное. Мирочка прибавила к рассказам ужасы выезда из СССР, отравление, унижения, рабский труд и прозябание в низших эмигрантских кругах Германии и… Израиля. Старички всему удивлялись, особенно когда услышали рассказы о бедности, они в этих странах бывали, ездили на вагнеровские оперы в Германию, а совсем недавно посетили Израиль и с восторгом вспоминали о поездке. Мира-Шура пучили глаза и не могли понять, как можно восхищаться немчурой и государством Израиль.

Потом, уже за десертом, выясняли родословную, каким боком-припеком Шурина семья связана с графом Б. По фотографиям из альбома это было трудно понять, фамилия отца подходила к одному из дальних родственников, который остался в России, не успел эмигрировать, был арестован (по доносу) и расстрелян. Шура смутно помнил разговоры в семье о том, как его бабка от страха и партийности донесла на своего мужа. Отца иногда совесть мучила, но он старался об этой истории особенно не распространяться, так что подробностей Шура не знал, а сейчас о таком позоре лучше было не вспоминать. Нужно поднести его семью как героически знаменитую и абсолютно лояльную, но Шура не знал, как это сделать, а потому, рассматривая альбомы с пожелтевшими фотографиями, мучительно соображал, как произвести хорошее впечатление на стариков. Мирочка тоже старалась изо всех сил — мурлыкала, шептала, скромно опускала глаза, нежно гладила по руке графа, улыбалась Ирэн и помогала убирать со стола прислуге.

— Ты видел их глаза? — вопрос Ирэн к Сержу, поздно вечером, когда Мира-Шура были отогреты, накормлены и уложены в комнате для гостей. — Мне их так жалко! Они так достойно держатся, не жалуются, а по всему видно, что им плохо. Бедные детки.

— Да уж… — Граф досматривал последнюю страницу «Фигаро» и очень хотел спать.

— Нет, ты не понимаешь, что они пережили. Ты слышал рассказ этой девочки? Как им тяжело пришлось выезжать, они окружены людьми не их круга…

— Хм, да уж… — Прогноз погоды на завтра предвещал солнце, а поэтому, подумал Серж, ранний обед с друзьями можно будет провести на открытой террасе ресторана.

— Ты бесчувственный человек, ты эгоист, — Ирэн терпеть не могла безразличного барского тона мужа. — Помнишь рассказ Александра о том, как за ними следил КГБ? А что пережили родители Мирочки? Бедные старики. Вот ты все свои газеты читаешь, в них много разного пишут о России, о диссидентах тоже много писали, а когда непосредственно с такими людьми сталкиваешься, сразу понимаешь, как им тяжело. Ведь они иностранцами будут всегда и везде! Они теперь навсегда без родины, без семьи.

— Неужели? — Граф зевнул и отложил газету. Он не очень хорошо понимал, кто такие диссиденты, а кто просто эмигранты. Но ребята на него произвели приятное впечатление, и он даже решил пригласить их в ресторан. Хорошо бы показать Париж, сводить в музей… Он поцеловал жену и выключил свет: — Спокойной ночи дорогая. Утро вечера мудренее.

Ирэн с Сержем прожили счастливую жизнь, без особенных болезней, окруженные людьми своего круга, приличными и богатыми, и единственный их грех заключался в том, что они никогда никого ни о чем не просили, а давали и дарили с удовольствием. Благородное сердце старого графа всегда было настроено на волну сострадания. Когда он видел по телевизору истории о стихийных бедствиях или катастрофах, то на глаза Сергея Сергеевича набегали слезы, он доставал чековую книжку, проставлял трехзначную цифру и оправлял чек по адресу благотворительной организации. Так что Ирэн была не права, упрекая его в черствости.

Она еще долго не могла сомкнуть глаз. В ее головке крутились сценарии, мысли множились, душа и сердце взывали к деятельности. Помощь требовалась немедленно. Сострадание росло в Ирэн, как гриб-дождевик, оно влилось в ее квартиру в виде двух несчастных родственников. Они были рядом, в досягаемости нескольких метров (не то что голодные дети в Африке), дыхание бедности, исходившей от Шуры-Миры, витало в ее квартире, и пьеса «Пигмалион» уже переписывалась в фантазиях Ирэн на другой лад.

Лежа в темноте, она рассматривала таинственные тени, двигающиеся по потолку спальни, и выстраивала планы. Главное, нужно уговорить ребят уехать из Берлина. Необходимо, чтобы они преодолели свою застенчивость и приняли предложение жить у них. Ах, как она чувствовала, что нельзя унижать бедность, нужно делиться, быть щедрой. Ее этому учили с детства, а православие (которое она обожала) развило в ней чувство вины перед всем миром. Да, да, она частенько плакала и стыдилась своего богатства, но все до копейки раздать голодным арабам и неграм так и не решалась.

Счастье ее заключалось в том, что она не догадывалась о планах, зарождающихся в головках Шуры-Миры. Знала бы Ирэн, о чем в гостевой комнате, на огромной кровати под балдахином, шепталась эта парочка?! Какие планы вынашивались в синих сумерках ночника, о чем грезилось этой парочке; им казалось, что стоит только руку протянуть и из рога изобилия польется золотой дождь!

Как часто бывает в жизни, счастье падает на тебя кирпичом в самый неожиданный момент. Все прошлое, уже давно позабытое, вспучилось пивной пеной в душе Шурочки. Проступили детали: находка пистолета, смерть деда, обретение отца. До сих пор в дальних закоулках

сердца он хранил ненависть к деду, многое не мог ему простить и сейчас. Матери своей он все простил и жалел ее, а воспоминания о Ланочке и Надежде щекотали ласковым тополиным пухом и возбуждали желания.

Мира уже давно сопела рядом, а он, широко раскрытыми глазами глядя в черную пустоту потолка, строил воздушные замки. Когда-то от сильного умственного напряжения он уставал, потом под влиянием Миры перестал особенно мудрствовать, все перепоручил ей, но теперь ситуация настолько была необычной, что в его голове вдруг сами по себе стали строиться грандиозные планы. Они собирались в его подкорке, словно стаи черного воронья, идея претворения в жизнь этих планов пьянила почище французского шампанского. После семейного ужина и ванны, в крахмальной белизне простыней, до глубокой ночи они, как два заговорщика, обсуждали ситуацию: «Я хочу здесь жить, мы будем их любить, ухаживать за ними, а потом они нам все завещают. Ладно, положим на это лет пять, но зато потом…» Мирочка от радости зажмурилась и зачмокала губками, как ребенок, она была слишком добра, потому что предлагала постепенный план внедрения в «рай». Она даже думала развестись с Шуриком и женить на себе графа. Она видела, как он посматривал на ее декольте. Или можно наоборот, сделать так, что старикашка неожиданно помрет, а Шурик женится на старушке. Еще можно подумать и подключить ее папу-маму из Израиля. Но все это требовало времени, переселения в Париж, нахождения работы и с огромными трудностями переоформления вида на жительство. И потом, каким-то сверхчувством они сознавали, что комедию с нежностью, семейственностью и полным растворением в этом высшем свете долго ломать им не придется. Не удастся сыграть Мире второй раз Снегурку, а Шурику доброго Деда Мороза. Вот почему они предпочитали действовать стремительно. Ведь пока никто из окружения благородных родственников не знал об их существовании, и следы замести будет легко.

Шуре было чудно слушать сегодня разговоры о вечной России, вере, царе, отечестве. Он не представлял, что есть русские эмигранты, которые сохраняют любовь к этой мудацкой стране. А может быть, они все завербованы КГБ и потому пропаганду жахают? Ясно, они агенты влияния. Он слышал от разных русских (особенно от тех, кто на радио «Свобода» работал), что среди эмиграции полно кагэбэшников. Как могло получиться, что этот Сергей Сергеевич воевал, в плену был, в международных организациях состоял, в политике разбирается, знает все об СССР, а в будущее России верит? Хрен знает, какую лапшу он весь вечер на уши вешал, плакался, что перед смертью хочет посетить Москву! Шамкал о какой-то вине перед страной, долге, православии. Видел я в гробу это православие. Глупость все это.

Наверное, именно таких наивных идиотов и расстреливали. Вот отец Шурика таким простачком никогда не был, он всегда знал, как своей стране и партии услужить и что взамен просить. Он все и получил, что хотел. Молодец. Нужно быть гибким, ловким, лбом стенку не прошибешь. Шурик никогда не задавался вопросами о «великой России», а в кругах его эмиграции об этом никто вообще не думал, в основном проклинали, так жить было проще и на душе легче. «А тут какой-то странный феномен — патриот России», — мелькнуло в голове у засыпающего Шурочки.

Сегодня в центре Парижа произошло знаменательное событие, которое все расставило на свои места: невостребованное материнство Ирэн в эту ночь обрело цель, а мечты Миры-Шуры стали обретать реальные очертания.

* * *

Родственник оказался замечательно наивным старичком, а его жена — уж совсем «Снегурочкой». После прогулок по Парижу, рассказов о достопримечательностях, вечернего ресторана, в котором они оказались втроем (Ирэн в этот вечер была в театре), старичок

разболтался, и полезли из него старые страстишки. Озорно поглядывая на Миру, он признавался в них со смущением, но и с нескрываемой гордостью. Ужин заканчивался, и, доедая кусок пирожного «наполеон», Мира промурлыкала:

— А нельзя ли нам хоть раз посмотреть на казино… в Париже? В Германии мы никогда не бывали, денег на это у нас нет. Наверное, это как в голливудском кино, дамы в мехах, мужчины во фраках…

Сергей Сергеевич зарумянился.

— В Париже самом нет казино, по закону они отдалены от столицы на сто первый километр. — Шурик хмыкнул. Знал бы старикан, что это означает! — Но нам это не помеха. Хотите покажу? Вспомню молодость по такому случаю, только Ирэн мы ничего не скажем, придумаем что-нибудь… — И он заговорщически подмигнул.

Мира-Шура переглянулись.

Сергей Сергеевич быстро расплатился, и они вышли из ресторана.

Несмотря на возраст, он прекрасно вел машину.

За окном мелькал ночной предрождественский Париж, вот уже и скоростная трасса, встречных машин нескончаемый поток, все спешат в город за последними покупками. Родственник жмет на газ, его азарт, подогретый ужином и воспоминаниями, так и брызжет. Он уже не стесняется, рассказывает, сколько выигрывал, сколько проигрывал, как кутил в былые времена, всхлипнул и покаялся, что виноват перед Ирэн. Но все это было мимолетное наваждение. Через полтора часа они прикатили в Форж Лез О, ближайший «игорный дворец» от Парижа.

Граф обменял наличность на фишки и занял место за столом, справа Мира, слева Шура.

Никаких дам в мехах и брильянтах, мужчин во фраках, обстановка в зале походила на провинциальный спектакль, вроде пьес Островского. Какие-то группы молодежи у «одноруких бандитов», несколько местных фермеров после ужина пытают счастье в карты, полупьяненькие старушки делают ставки вокруг зеленого сукна. Крупье скучно, он позевывает.

Игра пошла. Мире были выданы кругляшки, она робко ставила их на те же номера, что и Сергей Сергеевич.

Давно с Шурой не было такого, но глаз стал противно дергаться, и потянуло в туалет…

Игра затягивала.

Дешевое шампанское, для ублажения клиентов, под праздники подавали бесплатно, и старичок сосал его, не переставая, а разноцветные фишки то росли пирамидкой, то таяли. И когда у «знатока» дела их осталось три, он пригнулся к Шуре и прошептал:

— Вот, дружок, тебе моя кредитная карточка. — И написал на бумажке код из четырех цифр. — У самого входа, рядом с вестибюлем, ты увидишь «банкомат», возьми из него двести франков и обменяй… Мы тебя с Мирочкой ждем.

Шура-Мира переглянулись.

Он шел через зал, и его качало, не от выпитого, а от волшебной простоты саморазрешения проблемы.

Карточку он в автомат запустил, композицию из четырех цифр набрал, вытянул не двести, а десять тысяч. Это максимум, что за один раз можно было получить, но через час наступит следующий день и в другом месте и в другом «банкомате» можно вытянуть еще приличную сумму франков, а пока Шура вернулся на место, отдал поменянные фишки старичку. Тот пребывал уже в состоянии игрового угара, ставил без разбора и все проигрывал. Мира его экстаз подогревала, подливала шампанского, оно и завершило роковое дело, через полчаса пришлось звать «человека» и выносить графа в гостиничный номер при казино.

Ну вот. Теперь они свободны и богаты.

До Парижа их подбросила веселая компания молодых людей. На трех машинах они заезжали покутить, немножко выиграли, что-то продули, но все было неважно, а главное, что через час наступал Праздник!

Ночью, в спящем автобусе, Мира толкнула Шуру, он будто не слышал ее, прижавшись лбом к холодному стеклу, смотрел в черноту за окном.

— Смотри, что я нашла. Это сувениры на память.

На коленях, в грязноватом носовом платке, лежала брильянтовая брошка и серьги Ирэн.

## P.S

В декабре на пляже было неуютно, каждый день шел дождь, с сильным штормовым ветром. Лазурно-открыточное Средиземное море походило на Питерский залив. Курортники с детьми уехали, бархатный сезон для англичан и голландцев закончился в конце октября. Сейчас наступили самые грустные и серые месяцы. Многоэтажки из бетона окаймляли все побережье Испании, зимой эти города-спутники вымирали, только брошенные коты да собаки промышляли на помойках, да отдельные кафе и магазинчики обслуживали местное население.

Сюда Шуру-Миру не сквозняком занесло, а сильным ветром, задувавшим в спины беглецов. Где скрыться и пересидеть — было все равно, лишь бы не в Германию. Они торопились, в панике сели в первый автобус, который пересек Францию, Пиренеи и завез в маленький испанский городок. А наличных денег была куча! Да еще кое-что, это мечталось продать и выручить хорошие бабки.

До отдаленной пляжной деревни их добросило такси, с шофером кое-как на немецко-английском «эсперанто» разговорились, и он дал адрес старушки, сдающей квартиру. Вне сезона за ничтожную плату Шура-Мира обрели двухкомнатную квартиру с видом на море.

В шлакоблочном «курорте» в декабре было неуютно, одиноко и очень холодно, оставалось сидеть целыми днями в квартире. Когда выглядывало солнце, Шура надевал куртку, выходил на балкон и плюхался в шезлонг. Перед глазами — море до горизонта, а у подножья дома — пустынный многокилометровый пляж… Мира отлеживалась в горячей ванне или, натянув толстый свитер, часами смотрела телевизор.

Вчера, гуляя по пустому поселку, он неожиданно набрел на газетный киоск, порылся в журналах, посмотрел диски и с удивлением обнаружил кассету русского барда.

С балкона шестого этажа открывался потрясающий вид. Ветер с моря доносил соленые брызги,

солнце било лучами из черных туч, гигантские волны затягивали в свою бездну песок с пляжа, и где-то на горизонте рыбацкая лодка, как спичечный коробок, была готова захлебнуться в «девятом вале».

Шурик поежился, плотнее запахнул куртку, вставил пленку в кассетник, и из наушников понеслась песня Трофима:[9]

Тушите свет — поперло быдло кверху,

Как будто дрожжи кинули в дерьмо.

Россия открывает путь к успеху

Крутому и отвязанному чмо!

Наверно зря жалел Деникин хамов —

Их надо было б розгой да плетьми.

А вот теперь — ни воинства, ни храмов,

И мается Россия их детьми.

Аристократия помойки

Диктует моду на мораль.

Мне наплевать — а сердцу горько,

И бьет по печени печаль!

Когда жлобы на деньги коммунистов

Открыли банк «Американ Экспресс»,

Чекисты дали волю аферистам,

Имея свой бубновый интерес.

И в тот же час из общего болота

Поперли, скинув лапти, господа.

Теперь они в порядке и в почете,

Гребут лаве[10] из мутного пруда.

Я не ищу наследственные связи,

Но хочется спросить в кругу друзей:

— Я понимаю, что из грязи — в князи,

Но где взять столько грязи для князей?

Какой народ — такие и бояре.

Так что ж тогда на зеркало пенять?

А вот за что поперли Государя,

Так тут умом Россию не понять.

Аристократия помойки

Диктует моду на мораль.

Мне наплевать — а сердцу горько,

И бьет по печени печаль!

## Новорождение

Прошло две недели с того злополучного случая. Узоры на ковре, который висел над кроватью, он изучил настолько хорошо, что мог бы воспроизвести их по памяти. Александр Сергеевич никуда не выходил из дома, перестал мыться, валялся, не раздеваясь, на диване, непрерывно курил и молчал. Он впал в сильнейшую депрессию. Ольга никак не могла взять в толк, почему столь незначительное событие выбило Голицына из равновесия. Ну, подумаешь, хамы-милиционеры! Так ведь у нас всегда нужно быть на чеку, не расслабляться, а то с костями проглотят и не подавятся. Хорошо, что удалось вовремя среагировать, позвонить друзьям, которые спасли Сашу. Страшно представить, в какую отбивную котлету превратили бы они ее «поручика».

Отчего в нем что-то сломалось? Ведь он так старался жить, как все. От небольшого сотрясения груз последних событий, как гигантский ледник, сорвался и устремился вниз, подминая Голицына под себя. Все полетело в пропасть.

Он не мог спать, на короткое время тяжелые от бессонницы веки опускались, но через два часа опять просыпался. Не меняя позы, отвернувшись лицом к стенке, он неподвижно лежал, а в голове крутились все те же мысли. Что же теперь делать? Где справедливость, где любовь? А главное, во что остается верить? Всю свою жизнь он прожил так, что ему не было стыдно посмотреть в глаза людям. Большинство коллег на работе не были для него загадкой. Он их не судил строго, был всегда лоялен и не вмешивался в конфликтные ситуации. Каждому свое — это банальное и расхожее выражение вполне его устраивало.

Голицын вырос атеистом, но это была не его вина; как он сам себе объяснял, это потому, что мать ограждала его не только от прошлого, но и от веры. Разговоры о Боге они между собой никогда не вели, хотя он знал, что она посещает церковь. В памяти сохранились детские воспоминания: иногда по воскресеньям или большим праздникам мать брала его на службы, но чем старше он становился, тем это бывало реже. Он никому из сверстников об этом не рассказывал, для пионера и комсомольца так было лучше. Между ним и матерью возник как бы молчаливый договор, посещения церкви отпали сами собой, а как только он женился, мать совсем перестала напоминать ему о вере. Голицыну отчасти от этого было стыдно, но так жилось спокойнее.

Она долго болела, скрывала это от сына, терпела, потом ее увезли «по скорой» на операцию. Разрезали и зашили. Диагноз был страшным. Перед самой кончиной, когда он оставался ночами напролет у ее постели, а она не могла заснуть от сильных болей, с закрытыми глазами,

с искаженным от страданий лицом, она что-то шептала. Он нежно гладил, целовал ее исхудавшую маленькую ручку, не стесняясь своих слез, плакал. Когда физические страдания стали невыносимы, она дала ему телефон священника, своего духовника. Для Голицына это было откровением, такого он не подозревал. Отец Михаил пришел в больницу (что вызвало панику среди медперсонала), исповедовал маму, соборовал, причастил. Она скончалась во сне через три дня. Голицын сделал так, как она просила: ее отпели в церковке при кладбище, и на могиле поставили простой деревянный крест.

Ольга Леонидовна требовала кремации, расходы на похороны были непомерные, да еще церковь с попом, позору не оберешься, но Голицын был непреклонен, и ей пришлось уступить. «Черт с ней, с глаз долой — из сердца вон, теперь-то уж навсегда избавимся от этой святоши», — думала Ольга.

С тех пор прошло десять лет, отец Михаил сильно постарел, но каждый год служил на могиле панихиду. Приходили Александр Сергеевич и молодая пара слепых учеников матери. В течение пяти лет, до самой болезни, она давала им уроки французского языка за совершенно символическую плату, а ребята настолько прилепились к ней, что стали близкими людьми. Им было хорошо вместе, они слушали ее рассказы о прошлом, она читала им вслух, и не только французские романы. Познакомились они и с отцом Михаилом. От него Голицын узнал, что в последние годы мама была активной прихожанкой того храма, где о. Михаил служил, что она многим помогала, подкармливала одиноких женщин с детьми. Об этой стороне ее жизни Александр Сергеевич ничего не знал. Почему она была с ним неоткровенна?

Во время отпевания в маленькой деревянной кладбищенской церкви он стал шептать слова как бы молитвы, слов правильных он не знал, но душа его была настолько переполнена страданием и любовью к матери, что он просто просил у нее прощения. Полумрак, мерцание свечей, запах ладана, пение хора — возникало странное чувство, будто мама слышит его. Невидимая легкая рука коснулась его плеча. Сердце Голицына наполнилось радостью. Он был благодарен ей за этот последний знак с того далекого и неведомого света, он перестал робеть, смущаться, захотелось остаться в церкви, встать на колени и молиться, молиться бесконечно.

Но прошли похороны, и суета будней сожрала его душевный порыв, хотя неожиданное блаженство, которое он испытал тогда, засело в памяти. Додумать и понять, что же это было, собственных сил не хватало.

Голицын смотрел на красный узор ковра и думал, что теперь уж наверняка он должен отказаться от поездки в Париж. Он болен, и ни о каких съемках с эмигрантами речь идти не может. Он перевел взгляд на фотографию, стоявшую на его рабочем столе. Лицо мамы будто светилось, но это был эффект падающего солнечного луча из-за приоткрытой шторы. Голицын встал, взял в руки фотографию и поцеловал ее. В голове мелькали самые странные мысли, за последнее время душа его так изболелась, что частенько хотелось покончить с этими страданиями. Что держало его на плаву? Самый дорогой человек улыбался ему с фотографии и будто приглашал последовать за ним. Почему бы и нет? Так просто открыть окно, взглянуть с седьмого этажа не вниз, а, как во сне, в небо и оттолкнуться от подоконника.

Но прежде чем это сделать, он решил съездить на кладбище.

* * *

Голицын последний раз был здесь зимой; утопая по колено в снегу, он тогда еле пробрался к могилке. Сегодня, в будний июньский день, на кладбище посетителей не было. Многие могилы украшены искусственными цветами, металлическими венками, мрачные, гранитные плиты с

портретами по грудь и во весь рост не на шутку пугали. Хоть в народе и говорится: «Как человек жил, так он и погребен», но эти минимавзолеи казались варварским надругательством над покойниками.

Видно, кто-то побывал на могиле матери, высадил ее любимые цветы; у самого креста, в стаканчике, обгоревшая восковая свеча.

День стоял теплый, солнышко весело пробивалось сквозь высокие кладбищенские березы, а Голицына била дрожь, и, чтобы хоть как-то унять ее, он закурил. Огляделся по сторонам — никого, потом взгляд упал на могилу и на маленький овальный портретик матери, вделанный в крест.

Он вспомнил ее голос, неторопливые беседы, рассказы об отце, всплывали картины их мытарств, смена школ, бедность, страх, потом его женитьба. С этого момента в их отношениях произошел не то что раскол, но мать отошла в сторону. Она никогда не критиковала Ольгу, но и никогда ею не интересовалась, будто этой женщины и не было рядом с Голицыным. Ольга иногда злобствовала и говорила, что мать просто ревнует. За долгие годы эти отношения так и не наладились, а к концу жизни мамы ненависть и ожидание ее смерти настолько накипели у Ольги, что она почти перестала стесняться в выражениях.

«Здравствуй, мама», — прошептал Александр Сергеевич, дотронулся до креста и опустился на скамеечку.

Внезапно им овладело странное состояние, что-то вроде ступора, будто весь он отяжелел, как свинцом налился, движения замедлились, он услышал голоса, шепот, в голове пронеслись странные мысли, чьи-то слова, его вопросы, ее ответы, будто помимо него начался диалог с матерью. Он говорил ей о своих муках последних лет, как ему тяжело и трудно живется с нелюбимым человеком, корил себя за малодушие, за невозможность расстаться с семьей, жаловался, что надежды встретить близкого человека уже нет. Он сказал матери, что больше не может лгать, что разобраться в том, что происходит в стране, ему не под силу, как перестроиться и жить дальше, он не знает, что самое правильное было бы убежать, скрыться в глубинке, но ведь от себя не убежишь, и это он уже понял.

Ее тихий голос доносился издалека, как в детстве, шептал ему ласковые слова, просил успокоиться. Захлебываясь в слезах, Голицын говорил, что только теперь он осознал, как он одинок и как трудно найти себе друга и собеседника в жизни, сын, которого он любил, стал для него чужим, они боятся и не понимают друг друга, говорят уже на разных языках. Работа, которая была единственным убежищем всей жизни, его больше не интересует, а коллектив, с которым он сработался, стал враждебным, и он не знает, что будет дальше. Он плакал, как ребенок, и жаловался матери, что окружен хамством и лизоблюдством, что ему страшно выйти из дома, он рассказал ей о случае в милиции и унижении, которому он подвергся. Сухой комок перехватил горло Александра Сергеевича, и, задыхаясь в рыданиях, он произнес, что решил покончить с собой, потому что это единственный шанс честно и благородно выйти из игры. Почему игры? Да он сам это плохо понимал. Может быть, он всю жизнь играл? Впрочем, в этой стране все прятались за персонажами. «Вот почему у нас так любят комиков по телевизору пускать!» — мелькнула в голове идиотская мысль.

Сколько продолжался этот нервный приступ, трудно сказать, но кто-то обнял его за плечи, и, как эхо из небытия, он услышал голос.

— Слушай, сынок, да не убивайся ты так. Ее не вернешь. Вот я совсем сиротой остался, сначала жену, потом дочь похоронил. Да ты не стесняйся своих слез, тебе от них легче станет.

Давай-ка лучше помянем их. — У Александра Сергеевича в руках оказался стакан, в него полилась прозрачная жидкость, совершенно машинально, будто во сне, он залпом выпил, повернул голову и увидел на скамейке рядом с собой мужчину в ватнике.

— Плохо тебе, по всему видно, слышал я, что ты тут рассказывал. Болеешь, что ли? Трясет тебя, как в лихорадке, давай-ка еще хлопнем по маленькой. — Человек был уже немолодой, большого роста, с густой щетиной вроде бороды, глаза большие и умные.

— Ты знаешь, что с собой порешить — это большой грех. Я не церковник, но человек верующий, к сожалению, к Богу меня поздно судьба привела, так что живу с верой в Него, но без знаний о Нем. Жена моя Аннушка говорила, что для человека важно жить со страхом Божиим в душе. Страх Божий от многих преступлений спасает. Я в церковь хожу, пощусь, стараюсь молиться, да плохо у меня это получается, а хорошего батюшки так и не встретил никогда. Расспрашивать о вере Христовой стесняюсь, конечно, а надо бы переступить через себя. Ты-то в Бога веруешь?

Голицын молчал, он слушал.

— У меня вся жизнь поломалась до войны, я ведь из семьи репрессированных, «врагов народа», родителей арестовали, расстреляли, меня в детприемник сдали. Тогда ведь всех подряд хватали, а отец у меня в Ленинграде главным инженером на бумажной фабрике работал, они обои выпускали, ну и по кромке рулона всякие выходные данные проставляются. Видно, случилась неполадка со станком, и машина вместо «Ленинградская», напечатала «Ленин-гадская фабрика»… Сначала никто этого не заметил, контроль пропустил, а какой-то гражданин покупатель позвонил и сказал, что на фабрике враги работают, Ленина не уважают. Весь тираж потом из продажи изымали, а руководство арестовали как вредителей. Сам я в детдоме вырос, разного насмотрелся, шпаной был, воровал, посадили меня (это уже после войны), а когда я встретил мою жену, то будто родился заново. Она старше меня на семь лет была. Я ни во что не верил, ни в Бога, ни в черта, а она меня, как котенка слепого, из дерьма вытащила, к себе в геологический отряд определила, и мы с ней по Алтайским горам десять лет лазали. Там мы с ней и срослись, как два дерева, душу она мою отогрела, приучила к добру. Я очень озлобленный был. Ненависть меня спасала, на плаву держала, но не верил я, что настанет день, когда кончится эта безбожная власть. Знаешь, тем, кто моих родителей погубил, до сих пор не могу простить, а таких у нас еще много, живучие они, гады, их, вампиров, земля не принимает, вот они и маются на земле до ста лет, нам жить мешают.

Старик встал, подошел к соседней могиле и перекрестился:

— На небо только ангельские души попадают, гуляют по райским кущам и поют песнопения. Моя Аннушка была светлой души человек, все о смирении гордыни рассказывала. Всем существом я чувствую, что молится она обо мне с того света и этим мне помогает. Вот и твоя мать, она как ангел хранитель для тебя. Ты не должен черные мысли копить, отбрось их, вся суета пройдет, а любовь к ней и к Богу тебя согреет.

— А почему ваша дочь умерла? Ей сколько лет было?

— Доченьке моей было двадцать лет, мы с ней смерть Аннушки пережили, у нее хороший парень завелся, сама она в медицинском институте на втором курсе училась. Пришла домой, приступ, живот режет как ножами, температура. Я вызвал «скорую», отвезли в больницу, оказался аппендицит, у меня даже от сердца отлегло, ну, думаю, пустяки, у нас врачи и не такие операции делают, а это для них как семечки. После операции десять дней прошло, температура не спадает, нагноение шва, они опять наркоз, опять режут… А там уже полное

заражение брюшины. Оказывается, забыли вату из живота вынуть во время операции. В общем, кровь ей переливали, антибиотики давали, мучилась моя девочка ужасно и умерла от общего заражения.

Только сейчас Александр Сергеевич заметил, что на соседней могиле стоят два самодельных креста, сделанных из необструганной березы. На общем фоне кладбищенских памятников, белоснежная береста выделялась своей необычностью. «Странно, как это я раньше их не приметил, — подумал Голицын. — Вроде двух деревенских избушек в окружении бетонных новостроек».

— Понимаете, у меня больше нет сил. По всему видно, что вы пережили в жизни больше моего, но вы выстояли, не сломались. А я всю жизнь только и сгибался, дорожил своим покоем, лояльностью, я ведь не боец. Это жена моя всегда на передовых позициях. Мама была человеком кротким, но твердым, она меня своим примером от духовной нищеты спасала. Теперь уж я совсем ничего не понимаю: как нужно жить? Никогда не думал о личной свободе, а предпочитал подчиняться. Мне было так спокойнее, а теперь настал предел. Не понимаю, где зло, где добро…

— А теперь нужно радоваться! Отчаиваться не стоит, все самое страшное позади. Вот ты, как все мы, русские, долго, долго и тяжело болел, не лечился и болезнь вглубь загнал, а в результате случился кризис, гнойник этот и прорвало. Душа твоя и тело теперь будут поправляться. Медленно, конечно, но многое от тебя зависит.

Человек встал, нагнулся к могильным холмикам и, достав из кармана две деревянные иконки, прислонил их к крестам.

— Каждый раз на Пасху приношу, каждый раз исчезают. Зачем воруют? Непонятно.

— А разве сейчас Пасха?

— Да, в этом году поздняя, пошла последняя неделя. — Он немного заколебался и как-то смущенно добавил: — Книжечка у меня есть, она небольшая, но мысли в ней интересные. Самому мне трудно во всем разобраться, не хватает образования, но ты, наверняка поймешь, — он протянул Голицыну маленькую потрепанную брошюрку; видно, что ее здорово зачитали, страницы буквально рассыпались в руках. — Ну, с Богом! Давай на прощание выпьем, да я пойду.

Через какое-то время Голицын остался один.

Будто и не было странного знакомого, разговор с ним был недлинным, слов мало, а на душе от них потеплело. Он раскрыл наугад и прочел: «Дорогой..! Зло не создано Богом. Зло не имеет сущности. Оно есть извращение мирового, а в отношении к человеку и ангелам — нравственного порядка свободной воли. Если бы не было свободы, то не было бы возможности извратить нравственный порядок, премудрый и совершенный. Ангелы и человек, как автоматы, подчинялись бы законам физического и нравственного мира, и Зла бы не было. Но без свободы воли не было бы в человеке и в ангелах образа Божия и подобия. Совершенное существо немыслимо без свободы воли! Кстати, все атеистические учения отрицают эту свободу. Отрицают ее в теории, а на практике втихомолку допускают. Эта бездушная атеистическая машина, которая знать ничего не хочет о человеке, безжалостно калечит и уничтожает его именно тогда, когда законы этой машины того требуют…»

Александр Сергеевич осмотрелся: вокруг ни души, солнышко скрылось за деревьями, где-то в

глубине, на дальнем участке кладбища слышалось переругивание могильщиков — рыли свежую яму. Голицын опустился на колени и припал губами к холодной могильной плите.

* * *

Ольга Леонидовна терялась в догадках: что произошло с ее мужем? Не только от депрессии не осталось следа, но и сам Саша изменился. Сначала она думала, что он пошел к врачу и тот прописал ему таблетки, но оказалось, что никаких лекарств он не пил. Она в тумбочке и в его портфеле пошуровала — пусто.

Голицын вышел на работу, еще раз поговорил с начальством о Париже. Процедура оформления командировки была несложной, но волокитной, как всегда, связана с унизительными беседами, вызовами. Труднее всего было согласовать состав рабочей группы. Александр Сергеевич поставил вопрос ребром: он требовал своего оператора, с которым они сняли не один фильм, иначе он отказывался ехать. Но на это в результате было дано «добро». Куратором-директором (она же переводчик) была назначена молодая и очень шустрая девица. Ей надлежало не только отвечать за все финансовые расходы во время поездки, но и наладить связи с теми эмигрантами, которых они должны были снимать. Встретившись с Голицыным и с оператором, она заявила, что работала в Госкомспорте, много ездила за границу (как переводчик), а потому ее как опытного профессионала попросили помочь в столь ответственной работе. Кто попросил? Голицыну стало сразу ясно, откуда «ноги растут».

Он встретился со сценаристом, который пять лет провел в Париже. Какую должность он занимал и чем конкретно он там занимался, Голицын из его рассказов так и не понял. Сценарист ко всему прочему побывал когда-то журналистом и в самые застойные годы был откомандирован в качестве специального корреспондента для газеты «Известия». Благодаря своей природной тактичности он сумел войти в доверие к некоторым эмигрантам первой волны. Они приглашали его к себе, он спрашивал, они рассказывали, в результате накопились целые папки бесценного материала. Пожалуй, это был первый советский писатель, которому удалось не только собрать, но и опубликовать в конце восьмидесятых первую книгу об эмиграции.

Александру Сергеевичу для вникания в тему был вручен довольно увесистый том, а также список с фамилиями и телефонами. Писатель предупредил, что с момента его изысканий в Париже прошло более семи лет и что нужно торопиться, так как настоящих эмигрантов становится с каждым годом все меньше. Они, как «ветераны войны», доживают последние годы, историческая память уходит вместе с ними, а потому нужно успеть записать все на кинопленку. Дети наши должны знать правду об эмиграции, не в искаженном виде, а так, как это было на самом деле.

Ведь до недавнего времени в нашей стране распространялось мнение, что эти люди были предателями, заклятыми врагами, бежали из страны и воевали на стороне белых с оружием в руках против Красной армии. Теперь времена поменялись, и уже не может быть карикатурного взгляда на историческую правду, новая Россия должна попросить прощения у эмиграции и протянуть дружескую руку. Есть даже дальний прицел (у кого — писатель не уточнил) на возможное восстановление монархии в России, но для этого нужно проделать большую работу по наведению мостов с русскими аристократическими фамилиями, войти к ним в доверие, подумать о настоящей программе, которая уже разрабатывается (кем и где — он опять умолчал), о связях с соотечественниками.

— Ну, вы, конечно, понимаете, Александр Сергеевич, что выбор для такого важного фильма пал на Вас не случайно? Не только ваша фамилия к этому располагает, но есть подозрение, что

у вас там остались родственники. Так что задание вам, видимо, будет не только как к киношнику, но и как к тонкому политику.

— Что значит — задание? Я ведь не разведчик.

— Нет, вы совершенно неправильно меня поняли, — писатель немного смутился, — от вас требуется просто правильное поведение с этими людьми. Держитесь естественно, не стройте из себя красного патриота, старайтесь быть раскрепощенным, можете критиковать власть и особенно СССР. Это многих расположит к вам, я сам так действовал, правда, времена тогда были другие и на меня смотрели косо, подозревали во мне шпиона… хотя я был профессиональным журналистом. Эмиграция настроена к нам осторожно и не всех пускает к себе в дома. Но мы думаем, что им будет лестно выступать в качестве киногероев, тщеславие никому не чуждо, они в своих парижах им не избалованы. Поверьте, что я вам все это говорю в качестве совета. Это мой личный опыт.

Голицыну был неприятен «писатель», разговор с ним раздражал. Получалось, что от этого документального многосерийного фильма, на съемки которого выделялись огромные средства, ждали не только участия исторических персонажей, но был заложен в этом проекте некий дальний прицел.

Возвращаясь домой после встречи, он решил, что в Париже будет вести себя, как ему захочется, а в отношениях с эмигрантами никаких ужимок он делать не собирается. Ему стало противно, когда сценарист намекнул на ведение особых записей и дневников и посоветовал ненавязчивое внедрение в семью Голицыных. Так он ведь их не знает! Не беспокойтесь, у вас в списке есть их телефончик, поверьте, что они обрадуются не только съемкам, но и знакомству с вами. И так на душе гадко, а тут от него требуют сделки с совестью, на что он никогда не пойдет. Лучше он будет невыездным, изгоем, пусть с работы выгонят, но быть стукачом — никогда!

Чем муторней проходило оформление поездки, тем отчетливее он понимал, что должен, несмотря ни на что, оказаться во Франции. Из депрессии он вышел, а в душе народилось предчувствие перемен; и совсем уже не важно, что жена постоянно следит за ним, роется в его вещах, письменном столе, подслушивает разговоры по телефону. Из суеверных страхов, чтобы поездка не сорвалась, он никому о ней не рассказывал, ну а Ольга тем более была не из болтливых. Голицын знал, к чему приводят завистливые пересуды творческой братии, не постесняются и анонимку состряпать. Было бы обидно, если бы все сорвалось в последнюю минуту.

* * *

В гигантском аэропорту «Шарль де Голль» они долго проходили паспортный контроль, за ввоз киноаппаратуры пришлось отдать очень много франков. Переводчица крыла матом французских полицейских, они ее не понимали. Говорили: не застраховано, документы не так составлены, если не заплатите, конфискуем! Их встречал посольский шофер, по дороге в город, не стесняясь в выражениях, они на пару поносили «теплый прием дружественной Франции».

На бульваре Ланн в Российском посольстве им отвели две комнаты, в одной Голицын с оператором, в другой переводчица, и сказали, что они могут питаться в общей столовой вместе с сотрудниками. Мрачное, бетонное здание посольства, построенное в 70-е годы, недаром было прозвано французами «бункером». Архитектура его резко отличалась от архитектуры богатого и красивого района, который окаймлял этот цементный «шедевр», за чугунными решетками неприступной цитадели сразу начинался Булонский лес, теннисные корты, розарии, богатые

особняки с ухоженными цветниками, а дальше… Боже! Там простирался мопассановский, муленружевский, киношный, театральный, веселый, красивый, развратный Париж! По его улицам, еще в восьмидесятые годы, сотрудникам посольства расслабленной походкой гулять не рекомендовалось, а неосторожные и восторженные сравнения в кругу своих могли быть неправильно поняты. Отдельные чиновники и «резиденты» могли себе кое-что позволить, но и они были под прицелом «своих» ушей и глаз, кагэбэшники не дремали, все на всех строчили, следовали неприятные разговоры, а иногда и высылка на родину.

Казалось бы, посольский мир был надежно защищен неприступными стенами от тлетворного влияния Парижа?

Ан нет, за последние годы среди советских дипломатов (и не только во Франции) наметились тенденции непослушания. Несколько человек попросили политического убежища, кое-кто из сотрудников ЮНЕСКО перестал отдавать свою зарплату в мидовскую кассу и решил не возвращаться на родину. Скандалы нарастали, но никого за шиворот не взяли и в Москву не выслали. Вольнодумство витало в воздухе и под видом шпионского комара норовило всеми правдами и неправдами проникнуть за неприступные стены и всех перекусать. По правде говоря, большинству посольского народонаселения на парижские красоты было начхать, глаза бы не смотрели, но застрять в этом «бункере» подольше хотелось всем. Вот почему рука от анонимок не уставала, а пятилетняя экономия на еде приводила не только к приобретению мебели и машины, но и к авитаминозам.

Голицын знал, что совсем недавно волевым решением президент Ельцин сменил старого посла «профессионала» Дубинина на нового «непрофессионала» Рыжова. В МИДе глухо зрел «разгул демократии». Бывший ректор и академик Юрий Алексеевич Рыжов, вступивший в должность посла России, широко распахнул двери неприступного «бункера». А несколько месяцев тому назад президент посетил с официальным визитом Париж. На встречу с ним, впервые за 75 лет, в резиденцию посла на улице Гренелль была звана эмиграция в самом неожиданном составе: духовенство, дворянство, писатели, диссиденты… Ельцин приехал в окружении своего молодого правительства: Гайдар, Чубайс, Бурбулис… У всех радостный и открытый настрой, будто хотелось им перепрыгнуть через годы, повернуть вспять колесо истории, а потому и речь, сказанная Ельциным на этой встрече с «недобитым сословием», растрогала всех до слез. Он просил прощения от имени новой России, вспоминал о красном терроре, благодарил Францию, оказавшую приют русским, и звал приезжать в Россию. Для эмиграции началась эпоха ренессанса!

Новая политика, требовала и нового стиля работы посольства: бронзовую многотонную голову Ленина на центральной лестнице «бункера» срочно задрапировали в русский флаг, под которым вождь мирового пролетариата замрет на несколько лет.

Только что назначенный советник по культуре оказался вежливым молодым человеком, сказал, что ему приказано всячески содействовать налаживанию контактов с эмигрантами, съемочной группе из Москвы выделили машину с шофером и сотовый телефон. К проекту многосерийного фильма об эмиграции в посольстве относились серьезно. Тем более что после визита Ельцина раскручивалась новая программа по работе с «соотечественниками за рубежом».

Голицын был доволен, что их поселили именно здесь, запахи щей и пирогов (еще витавшие в те годы) в коридорах снимали напряжение, свои стены защищали и помогали устоять от соблазнов. А он уже из окна машины, когда из аэропорта ехали, кожей почувствовал, как этот город проникает в него.

Всякий раз, когда Голицыну удавалось оторваться от оператора и переводчицы, он пускался в прогулки по городу. Дней пять он сопротивлялся, по сторонам не смотрел, в лица прохожих не заглядывал, здешнюю толпу со своей не сравнивал, скорее критиковал: архитектура — так себе, наш Питер не хуже, в Лувр пошли — нас не удивишь, у нас Эрмитаж; набережные Сены в подметки не годятся Невской перспективе, бульвары — в Москве они тоже широкие, Люксембурский сад, конечно, неплохой, но какие-то дурацкие отдельные стульчики, а народ на траве валяется.

В общем, шарму Парижа Александр Сергеевич не поддавался, но потом устал бороться, и его доспехи стали покрываться дырками и ржавчиной. Он вышагивал по городу километры, фотографировал, записывал, сидел на набережных, рылся на книжных развалах, наблюдал, слушал уличных музыкантов, уже не стесняясь, глазел на шикарные витрины магазинов и заглядывал в глаза прохожих и не мог понять, чем отличаются эти лица от русских. Потом сообразил — выражением глаз, не было в них угрюмости и затравленности. С каждым днем ему все больше нравился Париж, таким он его не представлял, в нем была не киношная красота, здесь хотелось жить, этот город незаметно овладел Голицыным, и однажды он окончательно сдался. Он перестал сравнивать его с Москвой, он уже не цеплялся за стереотипы: «а у нас лучше, чище и негров нет…», он кинулся в объятия вечного города, как истосковавшийся по любви советский турист кидается к молоденькой проститутке с площади Пигаль. И еще Александр Сергеевич окончательно признался себе, что будь ему сегодня двадцать лет, он не задумываясь остался бы здесь навсегда, хоть бездомным бродягой: все равно с голоду не помру, а назад в Москву не хочу!

Три недели командировки предстояло провести в напряженной работе. Переводчица созванивалась по списку, оператор набросал примерную сетку съемок, а у Голицына в голове не было ни идей, ни мыслей. Тексты сценариста он читал, старался за месяцы перед отъездом понять, о чем этот фильм должен рассказать, но, кроме абстрактных говорящих голов на экране, представить ничего не мог. Главное, он никак не мог ухватить идею, на какие темы задавать вопросы. Не сводить же все к бытовухе? Хотелось поснимать на знаменитом кладбище Сент-Женевьев-де-Буа и в соборе на улице Дарю. Пока он в Москве, обложившись текстами, книгами и журналами, пытался выстроит, как говорится, «концепцию» фильма, для него неожиданно открылось много интересных подробностей. Биографии будущих героев фильма поражали не только фамилиями. Среди них были ученые, высланные из СССР на знаменитом «философском пароходе», офицеры, сражавшиеся у Врангеля и Деникина, а потом в рядах Сопротивления, графы и князья, богословы и иерархи церкви, дипломаты, сделавшие блестящую карьеру в международных организациях, банкиры, писатели, художники, манекенщицы, актеры и, конечно, шоферы такси. Франция стала для них второй родиной, они любили ее как могли, сохранили на чужбине русский язык и культуру.

Дни летели быстро, вроде бы все шло по плану, каждый визит был заранее расписан, снимали много. Голицын не мог вообразить, что встретит таких интересных людей, в какой-то момент он понял, что снимать по сценарию невозможно, что люди и судьбы выходят за рамки казенных страниц писателя-журналиста. Надуманных вопросов этим почтенным старикам можно было даже не задавать, беседа завязывалась сама собой, и чем дальше, тем больше хотелось узнать о жизни каждого, их рассказы вызывали у Голицына странные чувства. Никогда он не предполагал, что этот пласт России, потерянный для страны навсегда, всколыхнет в нем такую бурю противоречивых мыслей, с какого-то момента он перестал себя контролировать и стал задавать откровенные вопросы. Чаще всего съемки затягивались, их поили чаем, угощали ужином, приглашали приходить еще.

Неприятно было Голицыну, что переводчица всегда и всюду сопровождала их, наводила на

себя вид наивной девочки, задавала странные вопросы, в основном по биографиям, рылась в семейных альбомах и постоянно включала свой магнитофон.

По составленному расписанию съемок выходило, что к князю Михаилу Кирилловичу Голицыну они должны были попасть сразу по приезде в Париж. Переводчица ему позвонила, и он дал свое согласие на съемки. Но не мог себе позволить Александр Сергеевич этой встречи, не подготовившись к ней, поэтому он уже во второй раз, под разными предлогами, ее откладывал. После разговора с писателем он твердо решил, что если и встретится со своим родственником, то расскажет ему всю правду, а потому беседа эта должна произойти без свидетелей.

Оператору он доверял, тот был хорошим парнем и нос в чужие дела не совал, а вот переводчица всегда была начеку. «Все равно, будь что будет, обратной дороги у меня нет». Он так долго обдумывал свое решение, что заранее знал, как поведет разговор с князем, и был уверен, что получит не только моральную поддержку, но и практические советы.

Наконец он ему позвонил. Представился — режиссер фильма, фамилию свою не назвал, а только имя и отчество, сказал, что необходимо обсудить детали будущей съемки.

Из посольства Голицын должен был исчезнуть незаметно, но, конечно, так, чтобы его сразу не хватились, а потому он написал в записке оператору, что вернется сегодня поздно, ждать к ужину его не нужно, запихнул в спортивную сумку самые необходимые вещи, фотоаппарат, документы, деньги. Их было мало, но на первое время хватит. Что такое первое время, он себе плохо представлял.

До дома, где жил князь, он решил дойти пешком, как-то раз он уже заблудился в метро, а опаздывать к назначенному времени ему не хотелось. Голицыну предстояло пройти большое расстояние, но это его не смущало. Серый декабрьский день, напоминавший дождливую московскую осень, подходил к концу, каждая улица по-праздничному светилась и мигала тысячами разноцветных лапочек. Рождественские базары, серебристые гирлянды, елки, нарядные витрины — к этому празднику французы готовились с особой любовью. Рыбные лавки переполнены «морскими зверушками», мясные — с преобильным разнообразием пернатой, хвостатой, клыкастой и пушистой дичи, шоколадные и марципановые пирамиды, заморские фрукты, грибы и ягоды со всего мира и миллионы разных вкусностей призывали в эти дни парижан, не задумываясь о грехе чревоугодия, кинуться в объятия «рождественского Бахуса».

Суета предпраздничной толпы Александра Сергеевича не раздражала, он был соучастником ее веселой беззаботности, на душе хорошо, спокойно, назад дороги нет. Наконец-то он перережет пуповину, она и так держится на истлевшей ниточке. После смерти матери все попытки как-то наладить семейную жизнь не удались, а последние события (а может, это был знак свыше?) подтолкнули к решению. Что ждет впереди? Было бы неправдой сказать, что он не задумывался о будущем, но в парижской суете страх неизвестности пьянил, хотелось верить, что он сумеет справиться, а родственник ему поможет. Об Ольге он не думал, скорее знал, что ей в результате без него тоже лучше. Теперь другие времена, в худшем случае с ней поговорят, строгих санкций не последует, да и работа ее вряд ли пострадает, о сыне он тоже не беспокоился, у него наметился свой путь, а Ольга ему объяснит, какой он «плохой отец — предатель».

Голицын всегда носил с собой фотографии мамы и отца, сегодня он их покажет. «Интересно, похож ли князь на папу?»

* * *

В кресле за большим письменным столом сидел Светлейший князь Михаил Кириллович Г. Все стены кабинета плотно завешены: старые карты, фотографии военных, небольшое место занимала коллекция кинжалов и сабель, над камином, в массивной золотой раме, портрет Государя Николая II. Светлейший страдал одышкой, был грузен, с крупными чертами лица, лысиной и совершенно не походил на тот семейный тип, о котором Голицыну говорила мать.

Хозяин был неразговорчив и настороженно наблюдал за гостем.

Александр Сергеевич растерялся, не знал с чего начать. Вся продуманность разговора улетучилась.

— Я принес вам показать кое-какие фотографии… семейные, — он протянул их через стол. Светлейший достал из ящика стола толстое увеличительное стекло и поднес фотографии к носу.

— Это кто, позвольте вас спросить?

— Мои родители. Их фамилия Голицыны.

Князь небрежным жестом отбросил фотографии и откинулся в кресле. На его толстых губах появилась ироническая улыбка.

— Так вы, значит, из Голицыных? Да, я слышал, что в Москве оставались какие-то родственники. Но раньше они не проявлялись. Почему сейчас все бросились искать своих предков? Раньше о таких, как мы, в СССР старались не вспоминать. Что, страшно было?

Александр Сергеевич реакции такой не ожидал.

— Понимаете, я впервые оказался за границей, моя мать давно скончалась, она мне рассказывала о семье, особенно об отце, он ведь был арестован, мы потом скрывались, боялись, что и нас…

Князь слушал, не перебивал.

— Мы приехали снимать кино об эмиграции, об этом вы уже знаете, вам звонили, рассказывали. Я согласился быть главным режиссером этой ленты только потому, что хотел познакомиться с вами. Мы ведь уже со многими встретились, на меня эти русские произвели огромное впечатление.

— Неужели все произвели на вас такое впечатление? Видно, большинство из них несли свои благоглупости о великой России, которая возрождается. И что теперь они смогут кататься к себе на родину и плакать под березками. Не так ли? Я тоже был на приеме в посольстве, когда приезжал Ельцин, слышал его речь. Ну, достаточно трогательно. Многие из моих друзей там даже прослезились. Вы сами-то верите, что после семидесяти лет Страна Советов начнет подниматься с колен? Ведь политической жизни у вас нет. Какие перспективы? — Такого поворота Голицын не ожидал. Эмигранты, которых они снимали, действительно, о политике не рассуждали.

— …Россия — жертва веков ига крепостничества — продолжал князь, — а потом большевистского террора. Истребляли в этой стране всех самых трудолюбивых, талантливых и честных, а щадили и продвигали бессовестных, ленивых и склонных к доносительству. Ну а потом те же большевики и чекисты истребляли своих же. Почти как у Гоголя в «Страшной мести»: мертвецы грызут мертвецов.

Голицын замер, возразить на эту тираду ему было нечем. То, что касается «бессовестных и склонных к доносительству», — таких он знал, именно об этом он и хотел рассказать родственнику. Но нужно ли это делать? Может быть, его рассказ неуместен? А как быть с главным, с тем, что его разъедало и ради чего он пришел сюда? Поймет ли этот надменный господин, о чем идет речь?

— Вы совершенно правы, когда замечаете, что при крепостничестве у простого русского мужика не было выхода. Я читал об этом, мама мне рассказывала, но даже тогда был выход, если мужик был энергичным, умелым и работящим, то мог выкупиться. Кажется, дед писателя Чехова выкупился, да и не только он, ведь тысячи русских людей, которые потом стали настоящей славой России, вышли из крепостных, а из них уже в начале XX века появились предприниматели, военные, ученые… Может, и среди наших родственников были такие?

Светлейший мельком взглянул на Голицына и усмехнулся.

— Среди наших — таких не было. Может быть, среди ваших и были, но меня Бог миловал. Мои родственники и предки, талантливейшие русские люди, всегда знали, что такое служба Царю и Отечеству, некоторые из них попали в тюрьмы и лагеря, потом были расстреляны. Никто из них не играл по правилам Компартии, а те, кто играл, это не Голицыны. Если они и соглашались вступить в партию, чтобы их детям было легче или, как у вас говорят, «дать детям нормальное будущее и образование», то они тут же попадали в такую ловушку, что от их личности ничего не оставалось.

— Вы правы! Ах как я с вами согласен! Только совсем недавно я стал понимать, в какой стране живу. Вероятно, необходимо, чтобы прошло несколько лет, и только тогда будут изменения, пока все по-старому, любого человека могут стереть в порошок… в простом отделении милиции. У нас в стране сейчас большой энтузиазм, подъем, и всем кажется, что народ подымается с колен. Среди тех русских, которых мы снимали для нашего фильма, многие говорят о монархии. Как вы думаете, в России это возможно, может быть, это выход для страны?

Причем здесь монархия? Почему он решил заговорить об этом сейчас? В Москве о каких-то таинственных планах наверху намекал сценарист. Он за эти дни разного наслушался, сам спорил: о будущем России, о правительстве, здесь многие хвалили и жалели Горбачева, а Ельцину не доверяли, он для них был слишком «мужланом». Разговоры, что скоро начнется гражданская война, уже докатились до Парижа. Приходилось успокаивать эмигрантов.

Голицын как увидел князя, так хотел сразу о главном сказать. Но пока прошли через квартиру, потом хозяин предложил тарелку с бутербродами, стакан виски со льдом, обменялись незначительными фразами, и только он собрался с духом, чтобы приступить к своей истории, как его втянули в этот политический спор, а он был не готов к таким разговорам.

— Ну, это уж совсем ерунда. О какой монархии может идти речь?! Наверное, никто в России не понимает, что Государь — это помазанник Божий, он сам от престола отрекся, потом всех расстреляли, династия прервалась. Не этих же шутов ряженых сажать на трон? — Князь взял со стола газету и ткнул пальцем в страницу. Статья в «Русской мысли» была посвящена наследнику русского престола, которому недавно исполнилось шестнадцать лет, его бабушка Л. мечтала о том, чтобы внук поехал в Россию, поступил в Суворовское училище и подучил русский язык. — Думаю, что маленький франко-испанский принц не подозревает, что его ждет в Ленинградском «пажеском корпусе». О зверствах советской дедовщины он вряд ли наслышан. Кстати, я слышал, что у вас теперь создают Дворянское собрание. Вы уже в нем состоите?

— Ну что вы. Я ведь себя таковым не ощущаю, правда, я слышал, что теперь достаточно быть Шуваловым или Романовым, чтобы вписаться в это новое дворянство. У нас теперь есть все, а купечества и казачества растут, как грибы после дождя. Я ведь на телевидении работаю, теперь многое показывают и изобличают: как было до 91 года, что такое власть партии, ГБ… В последнее время я по провинции мотался, видел, как народ хотел расправиться с коммунистами и с милицией. Могу вам рассказать историю… Сам чуть не оказался жертвой народного бунта. Позвольте закурить?

— Пожалуйста, не стесняйтесь, сам этим грешу.

— В прошлом году оказался я в небольшом городишке. Мы снимали фильм об одном из местных героев Отечественной войны, пришли к главе администрации, сидим, разговариваем, и вдруг перед его окнами на площади стихийный митинг, народ требует перевешать всю гэбню и коммуняк, мой оператор, молодой парень, начал из окна сначала снимать, а потом кинулся на площадь, в толпу, я за ним, слышу, как вокруг подзадоривают: «Давай, давай, пусть в истории останется! Пусть весь мир увидит!», а тут отряд милиции, ОМОН, камеру выхватили, шмяк об асфальт, на куски разбили, началось побоище, выстрелы, я парнишку-оператора оттаскиваю, он сопротивляется, в общем, укрылись мы опять в горисполкоме и в том же кабинете, только теперь в нем оказался и начальник местного КГБ. Помню как сейчас, он у окна стоит, курит, сверху на площадь смотрит и, обращаясь к нам, говорит: «Мне наплевать, какой флаг на горисполкоме будет торчать. Пусть народ в демократию поиграет, мы на время исчезнем, а потом перевернемся, и снова наша возьмет». Так и сказал. Неужели это правда? Откуда у них силы берутся?

Будто нарыв прорвало у Голицына, полезло из него все, что накипело, все, что носил в себе, о чем думал. Он уже расхаживал по кабинету, не особенно стесняясь, налил виски и стал говорить, что Ельцин обещал расправиться со сталинцами и партийцами, уже Бакатина назначили во главе КГБ, а он демократ, переговоры с прежними высланными диссидентами идут, Дзержинского с Лубянской площади снесли, народ только и ждет, когда, наконец, окончательно падет власть ГБ, но что страх глубоко сидит в каждом русском человеке, он въелся в сознание, и что конца этому не видно.

— Я устал, я себе уже не принадлежу, всю жизнь так, но больше не могу, мне, перед тем как сюда ехать, предлагали за вами наблюдать, войти в доверие; поверьте, я ничего не обещал, но решил — уеду и останусь. Понимаете, я себе стал противен, всю жизнь со страхом, унижением… А как решил здесь остаться, так перестал бояться.

Воцарилась гробовая тишина.

Где-то в глубине квартиры громко тикали настенные часы. Время шло… Разговор принял неожиданный оборот. Князь с величайшим любопытством смотрел на Голицына, он с трудом встал из-за стола, опираясь на массивную трость, немного прихрамывая, вплотную подошел к Александру Сергеевичу. Его тучное тело колыхалось, казалось, что он вот-вот потеряет равновесие и упадет на собеседника Неловким движением одной рукой он притянул Голицына за шею и обнял.

— Очень надеюсь, что вы не совершите этой глупости. Для вас это было бы роковой ошибкой. Вы не сможете здесь жить, вы другой. Простите за нескромный вопрос — сколько вам лет?

— Шестьдесят миновало, — он не узнал своего голоса. Все пропало. Помощи здесь не будет. Этот человек ему не верит. Нужно его убедить, что назад у него дороги нет, мосты и корабли сожжены, все передумано, может быть, плохо придумано, но каждый прожитый здесь день его

убеждал, что если не получится, то остается один выход, и придется к нему прибегнуть, потому что записку уже нашли и консулу доложили.

— Жестоко говорить, но поверьте мне, пройдет несколько месяцев, и вы окунетесь в нищету, неустроенность, безъязычие, вы будете обречены на одиночество. Это сейчас вам кажется, что Париж прекрасен, а когда каждый день нужно будет добывать хлеб насущный и унижаться в поисках социальной помощи… поверьте, вы возненавидите всех. Было бы вам сейчас двадцать, ну даже тридцать лет, были бы вы холостым, я не остановил бы вас. Приветствовал и готов был бы вам помочь!

— Что же мне делать? Как жить дальше? В Москве я одинок, ведь таких людей, как вы, там нет. Сами-то вы верите, что прежняя, старая Россия народится заново? Никто из тех, кого мы снимали, возвращаться не собирается, да и кому они там нужны, так, съездить в гости, пожалуйста. Для большинства наших русских здешние эмигранты смотрятся выжившими из ума идиотами, чем-то вроде музейных редкостей. Мне иногда кажется, что их у нас хотят использовать в каких-то таинственных целях. Может, это престиж страны подымает? Мне на это один человек намекал.

— Кому мы там нужны, на что могут влиять жалкие эмигрантские недобитки! Да уже такие заманивания после 45-го года были, некоторые здорово пострадали. Откровенно скажу, меня никакими калачами туда не заманишь. Скажите, Александр Сергеевич, вы верующий человек?

— Мне трудно ответить на этот вопрос, иногда кажется, что да, но всю свою жизнь я вырос без веры, мама была церковной, меня в детстве в храм водила, а я сплоховал… Предал я собственную веру, она во мне еще в юности тлела, а потом совсем погасла, покрылась панцирем. Только недавно опять в церковь потянуло.

— Вот видите, мы, русские, проиграли самим себе по всем статьям. Мои родители, братья проиграли в гражданской войне, и не потому, что мы не умели воевать, а потому, что большая часть русских мужчин и офицеров погибла на фронтах Первой мировой. Но тогда у наших родителей сохранялись высшие благородные идеалы. Во имя великой России и Империи они клали свои жизни. Потом белые были разгромлены, их идеи были преданы, а тех, кто остался и не бежал, всех вырезали на корню. И не только физически. Коммунисты сумели густо засеять эти пустующие пастбища своей пропагандой, разложить души, разорить церкви, они сумели внедрить в них свое духовенство. В те годы, когда белые ушли в мир иной, гэбэшники начали последнюю войну: за духовность. Мы здесь знаем всю историю советской церкви… Как она выживала, кем засевалась, а народ опять оказался оболваненным. Я не случайно спросил вас, верите ли вы в Бога.

— Понимаете, у нас сейчас народ валом валит в церковь. Все крестятся, венчаются, в общем, ищут опоры, наверное, и для меня это единственный шанс выжить там, я совсем недавно к этому пришел. Случайная встреча подтолкнула, но настоящего батюшки, наставника у меня нет.

Он представил панику в посольстве, переводчица звонит по всем эмигрантам, наводит справки, выспрашивает. Будут ли обращаться в полицию и когда сообщат Ольге? Слова князя долетали издалека.

— Такому, как вы, трудно будет везде. Меня, конечно, зовут в Россию, письма получаю от странных родственников, поверьте, я не вас имею в виду, из провинции приглашают приезжать и даже править каким-то имением, все это напоминает мне театр абсурда. Вот и вы

сомневаетесь в том, как пойдут дела в стране, а казалось бы, вам на месте видней, возрождение страны происходит у вас на глазах. Но я решил для себя, что поеду туда, только если будет настоящее покаяние за все преступления, которые совершены. Пусть вам покажется это наивным, но я хочу услышать не только слезные извинения Ельцина в узком кругу эмигрантов, я хочу услышать публично имена всех, кто убивал, сажал и расстреливал мой народ. Был же Нюрнбергский процесс! Так почему не может быть подобного над коммунистами?! А пока я предпочитаю подождать и не кидаться сломя голову в объятия новой власти. Наверное, вы уже заметили, сколько легковерных и наивных эмигрантов в Париже?

— Мне скорее показалось, что они очень любят Россию, хотят увидеть ее богатой, быть ей полезными, возродить традиции, культуру…

— Глупости! Какими были наивными идиотами, такими и остались. Большинство из них клюют на приманку. Вокруг них в Москве попрыгают, два-три интервью возьмут, медаль повесят, и им кажется, что от них зависит возрождение России (опять Голицын вспомнил слова сценариста), а на самом деле все смотрят им не в рот, а в карман. Вы знаете, что русским династиям каюк, их больше нет и не будет, так же как купечества и крестьянства. Мы все представляем собой конец перевернутой пирамиды, а я, ее макушка, головой в земле. Все мои родственники во втором поколении, дети, внуки уже не говорят по-русски, ходят в церковь и то не всегда в православную. Неужели вы полагаете, что можно возродить дворянство, благородство души и кодекс чести? Ведь одной фамилии для этого не достаточно.

Князь распалялся, разговор его увлек, он будто забыл, что перед ним человек, который хочет услышать совсем другое. В соседней комнате били часы, каждый удар приближал Александра Сергеевича к гильотине. Нужно было на что-то решаться.

— Знаете, — продолжал Михаил Кириллович, — мне вчера звонили друзья, рассказали ужасную историю. Одного моего знакомого, правда, я с ним не очень близок, сталкиваемся иногда на разных приемах, так его ограбили новоиспеченные родственники, какая-то молодая пара из Германии. Он их принял с распростертыми объятиями, а они его обчистили как липку. Полиция ищет, да что толку, бедного Сергея Сергеевича хватил инсульт.

«Неужели и меня он воспринимает как совкового родственника и, не дай Бог, как грабителя? А почему, собственно, он должен мне доверять? Кто я такой? Сомнительный режиссер, свалился на него с рассказами о слежке и вербовке, прошу помочь остаться в Париже. Какая наивность с моей стороны! Зачем я пришел сюда?» Стало грустно, рождественское настроение сменилось осенней слякотью и безысходностью. Голицын покосился на свою спортивную сумку. Дурак, еще и вещи притащил. Может, что-то предпринять, так, чтобы оператор не поднял паники?

Номер телефона проходной посольства у него был.

— Простите, вы позволите от вас позвонить?

Долго рылся по карманам, бумажка нашлась. В трубке то длинные гудки, то короткие. Время идет, он уже с ним наперегонки. Кто быстрее — он, оператор, переводчица, консул? Какую легенду выдумать? А может, плюнуть на все и будь что будет? Попрощаться с хозяином, выйти на улицу, подойти к первому полицейскому и сказать фразу, которую он давно выучил? Отступления нет, только в прошлое, а впереди неизвестность, толчок, прыжок, пропасть… Но как знать, может быть, вырастут крылья и он не разобьется, а полетит?

## Песчинка

Впервые в жизни, в свои шестьдесят лет Голицын был готов на прыжок в неизвестность. Никогда он особенно не задумывался, что такое для него «родина», всё сводилось к привычкам, уюту, мещанской обустроенности, к маме, к старым фотографиям в альбоме, природе, поездкам по стране и к работе. Вот это и была его «родина», которая в его сознании умещалась в некую плоскость бытия и сформировала его инфантильное сознание на долгие годы. Его личность была защищена от внешних стихий не только самой бессобытийной страной в мире, но и людьми, с которыми он жил и работал, а работу он любил больше всего на свете. Да и сам Александр Сергеевич, особенно глубоко не копал, скользил по накатанному, ну, а от несчастий в личной жизни он ушёл с головой в работу и стал трудоголиком.

А тут, (как знать, в один день, или постепенно?) в нём что-то поменялось… Пылинка, песчинка, зернышко, занесённое ветром неведомо откуда, дало росток, Голицын стал задумываться.

Он помнил даже погоду в ту парижскую предрождественскую ночь, лил холодный декабрьский дождь. Голицын второпях попрощался с князем, выбежал сломя голову на улицу, пытался поймать такси, но ни одна машина не остановилась, все спешили домой к праздничному столу. Он побрёл пешком, расстояние большое, и подойдя к тёмному силуэту посольства он понял, что катастрофически опоздал, видимо даже те чиновники, которые справляли по «басурманскому» календарю и этот праздник, своё выпили и улеглись спать. Голицын перешёл на противоположную сторону, к самой кромке Булонского леса, встал под намокшуюкрону гигантских дубов и взглянул на чёрный фасад «бункера». Лампочка тускло горела у входа, французский полицейский одиноко сидел в своей будке и, несмотря на ливень, изредка выходил прогуляться вдоль решетки. Вероятнее всего ему было очень грустно дежурить в такую ночь, а не сидеть в окружении семьи или друзей вокруг праздничного стола. Ведь для французов Рождество самый долгожданный и любимый праздник года; сейчас далеко за полночь, а значит, если семья была на полуночной мессе, то все давно вернулись домой, сели и приступили к вкуснейшему чревоугодию, состоявшему из устриц, сёмги, с обязательным белым вином, потом выносилась пылающая золотисто обжаренная индюшка с каштанами, разливалось бордо, а на сладкое традиционный бюшь — шоколадное палено, в спинку, которого были искусно вбиты марципановые ёлки, топорики и снеговики. Настоящая красавица ёлка, пышная, свежая, вся опутанная лёгким серебром, в мигающих лампочках была центром и загадочным местом для каждого, а особенно для детей, которых взрослые давно отправили спать, но ровно в двенадцать, тем, что постарше, разрешалось прибежать в пижамках к ёлке и обнаружить под ней разноцветные, коробки. Они раздирались сразу и очень весело! Паркет был усеян пёстрым серпантином, вперемежку с блестящим упаковочным мусором, а восторженные возгласы детей и счастливые глаза взрослых завершали эту праздничную ночь.

Полицейский вышел в очередной раз из своей будки, натянул на голову капюшон и медленно, прогулочным шагом стал приближаться к лесному массиву, который скрывал Голицына. Он не мог его видеть, так как дождь усилился, особенно вглядываться в темень охоты у полицейского не было, а в ночной чаще деревьев рассмотреть одинокую фигуру было практически невозможно.

Возникла, какая-то странная геометрическая, взаимосвязь, некий треугольник, между Голицыным, полицейским и «бункером». В любой момент это спокойствие и кажущееся равновесие должно быть нарушено и Александр Сергеевич знал, что осталось всего несколько минут, до этого. Он, как бы примериваясь, вымеряя расстояние и свои силы, смотрел на спящую бетонную громаду и вполне сознавал, что второго прыжка, в обратную сторону, не сможет совершить; записку его уже давно нашли, прочли, обнаружили пропажу сумки,

поняли, что он сбежал. Идти с повинной к гебешникам, означало подписать себе если не смертный приговор, то муки унижений и позора на всю оставшуюся жизнь. Но даже сейчас, в последние мгновения перед броском, когда для него стало очевидным, что, то к чему он себя готовил, мучился в сомнениях, и как бы эта масса архитектурного уродства не довлела над ним фараоновой пирамидой, и, не поднимала в нём стыдливые чувства долга, чести, совести; и не гипнотизировала его, впрочем, как и всех тех, кто сейчас спал внутри, страхом прошлого и будущего, даже сейчас, он сознавал, что не уверен в себе и своих силах. Тишина, нарушавшаяся лишь шуршанием дождя, становилась невыносимой, его раздражала собственная нерешительность; жена всегда ругала его, что он тряпка и не боец, а тут он вдруг становится воином… по неволе. Голицын горько усмехнулся, посмотрел на часы, перекрестился и направился решительными шагами в сторону полицейского, который сначала не удивился, возникшей перед ним фигуре, потому как решил, что это ночной гуляка, забрёл в незнакомое место и ищет нужную улицу, он даже вежливо приветствовал его; но через пару секунд, случилось нечто непредвиденное, сутулый в промокшей куртке, немолодой господин, смущаясь и заикаясь, кинулся к нему со словами: " же не парль па франсе, же свьи русс, силь ву пле, азиль политик!!!"

Вот какой рождественский подарок в эту ночь принёс французскому *флику* русский Дедушка Мороз.

* * *

Полицейский затащил Голицына в своё убежище и сразу позвонил по сотовому телефону, по его взволнованному тону и многократному повторению слова «политика» Александр Сергеевич сделал вывод, что он правильно заучил слова о «политическом убежище»; а его вопли возымели действие — через пять минут как по волшебству из ночи вынырнула маленькая, юркая легковушка без особых примет, двое молодых парней, одетых в джинсы и куртки, бодро выскочили из неё. Перекинувшись несколькими фразами с полицейским, и взглянув на ошалевшее лицо виновника ситуации они сразу усекли, что русский побегушник, не может связать и двух слов по-французски, и что нужно его срочно отсюда увозить.

Александра Сергеевича как-то особенно бережно упаковали на заднее сидение машины, шофёр нажал на газ, переключил скорость и когда силуэт бункера исчез за поворотом, Голицын облегчённо вздохнул.

Сначала его привезли в районный полицейский участок, дежурный листал его паспорт, куда-то звонил, что-то заполнял, предложил чашку кофе, прошло полчаса, потом опять автомобиль, на этот раз уже в сопровождении молодых полицейских с пистолетами, которые неслись по спящему городу с мигалкой и сиреной, мелькали мокрые деревья в паутине огней, гирлянды разноцветных лампочек свисавших через улицы, хрустальные ёлки в освещённых витринах…

Странно — подумал Голицын, — что его поездка в Париж, наметилась ещё весной и он сомневался, не хотел ехать, мечтал о Байкале, а потом с ним произошла эта дурацкая история, которая его буквально раздавила и может быть именно она стала последней каплей; ведь его тогда, тоже везла милицейская машина, он помнил, как его унизили в участке, как он дрожал от страха, но жена спасла, убедила начальство, а потом и его, что для карьеры и какого-то очередного диплома, он должен поехать снимать эмиграцию. Он тогда ничего от этой командировки не ждал, тем более, что оформление документов затянулось до зимы, и казалось, что эта работа сорвётся. И уж совсем он не предполагал, что попав сюда, за очень короткое время, мысли и сознание его так до оформятся, что он неуверенный и потерявший себя человек, совершит этакий «героический» кульбит.

На всей скорости машина подлетела к серому гранитному монолиту, окна первого этажа были зарешечены, и необычайно высоко росли от тротуара, все вышли и один из полицейских, вежливо придержав Голицына под локоть, указал на массивную дверь. Александр Сергеевич глянул машинально вверх, скользнул взглядом по фасаду и в неоновом свете ближайшего фонаря, увидел как первый снег крупными хлопьями, устилает мокрую мостовую и превращается в серую кашицу. "Как в Москве — подумал он — нужно загадать желание"

Они, пересекли пустынный холл, с одинокой фигурой в отдалении, поднялись на лифте, шли по коридорам и ему казалось, что они бесконечны. Наконец его ввели в довольно пустую казённую комнату, и оставили одного. Стол с телефоном, три стула, и окно, плотно закрытое жалюзи. Голицын не знал, то ли ему сесть, то ли стоять, он опустил свою промокшую насквозь спортивную сумку на пол и прислонился к стене. Усталости он не чувствовал, ему хотелось, наконец, поговорить с кем-нибудь, и обстоятельно объясниться на родном языке. Мысли путались, прыгали, хотя ему казалось, что он всё заранее продумал, как скажет, что ответит, а тут всё мешалось, и лезла одна ерунда. " Странно, вчера началась оттепель, а сегодня наверняка подморозит", — подумал он, и в это мгновение дверь резко распахнулась.

В комнату вошёл сухощавый средних лет господин, в изящном модном сером костюме, из нагрудного кармашка торчал розовый шёлковый платочек, галстук такого же нежного цвета в крапинку был завязан небрежным свежим узлом, в руках у вошедшего кожаный портфельчик, который он ловким жестом бросил на стол и дружески протянул руку Голицыну. Рукопожатие оказалось вполне клещевидным. Поджарая сухость спортивной фигуры, щегольски подчёркнутая изящным костюмом, с головой выдавала военную сущность господина и, скорее всего, его принадлежность к офицерскому званию. Александр Сергеевич от неожиданности, что перед ним возник некий "Джеймс Бонд", окончательно растерялся, не просёк тех нескольких слов, брошенных при знакомстве, а вероятнее всего это была фамилия «бонда», но так как мысленно Голицын представлял кого-то другого, а не такого ряженого кино-героя в крахмальной рубашке, то у него в ответ выдавилось нечто мычащее и несуразное: " Же не парль па франсе, мерси, же вё...".

Офицер улыбнулся, указал Александру Сергеевичу на стул, сел напротив, лёгким щелчком открыл замок портфельчика, из, которого на стол выплыл паспорт Голицына, множество бланков и блокнотик, после чего, «джеймс» старательно отвинтил колпачок с пера и быстрым, бисерным подчерком стал заполнять бланки, сверяя что-то с данными паспорта. Время шло, вопросы молчаливой гурьбой грудились в голове Голицына, он был взволнован, недоволен собой и напомаженным офицером, от которого несёт одеколоном и, который наверняка срочно вызван, в связи с его делом, примчался прямо от праздничного стола, а сам сидит и зря тратит время на какие-то закорючки. "Он ведь ничего не понимает — раздражённо думал Александр Сергеевич и чем делать свои дурацкие записи, мог бы сразу приступить к делу". Голицын нетерпеливо ёрзал на стуле, деликатно покашлял пару раз, чтобы обратить на себя внимание, но офицер не отрываясь, сосредоточенно продолжал писать, сверять с записями в блокноте, и Александру Сергеевичу слышалось, будто золотое перо, скользящее по бумаге издаёт неприятный звук.

В дверь тихонечко постучали, и молодой человек в форме внёс поднос с бутылкой шампанского и тремя длинными пластиковыми фужерами. Вслед за ним в кабинет протиснулась фигура, довольно молодого человека, в чёрном костюме, с бледным помятым праздничной бессонницей лицом. Дежурный вышел, а «джеймс» ловким цирковым движением, бесшумно откупорил бутылку, разлил пенящуюся жидкость в пластик, белозубо сверкнул улыбкой, высоко поднял руку с бокалом и обернувшись к цветной фотографии президента Миттерана, висевшей над столом, воскликнул: " Вив ла Франс, вив ла Репюблик, вив ла Либерте!" — и залпом выпил.

Голицын последовал примеру, бледное лицо молодого человека исказилось болезненной гримасой, будто он вливал в себя не французское шампанское, а серную кислоту.

«Джемс» неожиданно хряпнул пластиковый фужер об пол, тот пружинно отскочил под стол, а офицер что-то буркнул и засмеялся.

— Он говорит, что у вас в России принято на счастье разбивать рюмки. Простите, я не представился, я Паша, переводчик. У меня так болит голова, что я предпочёл бы таблетку аспирина… да вы садитесь и без церемоний, здесь можно держаться по-простому. Я не знаю, вам сказали, что «он» довольно большое начальство… хотя это не моё дело, вам, наверное, объяснят потом…

«Джеймс» сел за стол, переводчик и Голицын рядком, напротив.

— Скажите Александр Сергеевич, вот вы известный режиссер, давно работаете на телевидении, почему вы приехали снимать фильм об эмиграции? — Смешно коверкая по-французски его имя-отчество, начал свой допрос «бонд», а Паша, несмотря, на головную боль, подключил свой автопилот и не отставая ни на секунду, залопотал рядом.

— Я совсем не хотел ехать, я даже не думал об этом, но у нас ведь не спрашивают, мне дали такое задание… это моя работа.

— Странно, кто же вам дал такое задание? Вы, кажется фильмы о милиции снимали, а тут тема совсем другая… странно. С вами беседовали в КГБ? Нам понятен их интерес к русской эмиграции. У вас ведь кажется, здесь тоже есть родственники?

"Быстро же они навели справки" — мелькнуло в голове у Голицына.

— Да у меня троюродный дядя, по отцовской линии, князь Голицын. Я собственно решился на эту поездку, чтобы с ним увидеться, поговорить и вернуться, но потом понял, что наша встреча, да и вообще, все эти русские люди, они замечательные, они другие… у меня от их рассказов, что-то внутри прорвало.

Голицына несло, он не мог уже остановиться, но чем дальше он рассказывал о себе, о матери, о своих переживаниях, о том, что, он понимает, что по возвращению, от него так просто не отстанут, а потребуют отчётов, и может быть за этим последуют ещё командировки, которые будут ему отвратительны и он никогда не сможет ничего подписать, никогда ничего не сможет плохого рассказать ни о ком из этих героических русских парижанах, которые его так сердечно здесь принимали…

Он говорил, Паша лопотал как пулемёт, а Александру Сергеевичу всё казалось, что «джеймс» откинувшись на спинку стула, смотрит на него иронически и ждёт чего-то другого, более важного, а не той сентиментальной белиберды, с поисками справедливости и угрызениями совести, которыми он его пичкает уже целый час.

— Но ведь не может быть, чтобы с вами никто никогда не беседовал? Вот вы мне сказали, что получили всякие звания, дипломы, за фильмы о работе милиции…, ведь так просто, кого попало, к этим органам у вас в стране не допускают?

— Вы не верите мне?! — отчаянно воскликнул Голицын. — Но, я вынужден признаться, я сам себе лгал долгие годы, я ведь всё знал, терпел, принимал от «них» звания, и всё из-за того, что не мог жить без интересной работы, совершенно опустился, стыд потерял… моя жена меня всю жизнь защищала, собственно говоря, она мне мою карьеру сделала, это она со всеми этими

ужасными… органами общалась, думаю даже тесно.

Его от этого признания замутило, стало гадко, он совершенно не подозревал, что разговор примет такой оборот, когда он рассказывал «джеймсу» о своём детстве, о родителях, о том как постепенно он стал искать истину и когда СССР " приказал долго жить", ему стало легче дышать и появилась смутная надежда, что и страх у него пройдёт и что эти «органы» сдохнут, и как знать, может быть, он смог бы больше не зависеть ни от кого, и обрести свободу, именно, во время этого «чистосердечного признания», он не заметил, как упустил существенную деталь, забыл сказать самое главное, что жена его… стукачка! Может быть, страх в обнимку с амнезией, так давно и надёжно сковали его совесть, что даже сейчас, он боялся, и до последнего пытался обойти эту скользкую тему. Нет, конечно не для того, чтобы выгородить Ольгу, он совсем не хотел в разговоре с «джеймсом», выставить её в хорошем свете, а просто, независимо ни от чего, ему было очень стыдно за себя… и как ни странно, за страну.

— Как интересно. А ваша жена, вас шантажировала, угрожала?

— Нет, она меня оберегала всю жизнь, но вам трудно это понять… я её всегда боялся, а она это знала и пользовалась этим.

— Значит, шантажировала, угрожала?

— Нет, но в этом не было необходимости, она просто завладела моей волей. И знаете, мне стало невыносимо жить с ней рядом, я старался уезжать в командировки, подальше от неё и тогда мне казалось, что я дышу свободнее, а её вообще нет, что она исчезла.

Он не мог раскрыть свою сокровенную тайну, он понимал, что даже мать осудила бы его за это, но он не только мечтал об исчезновении Ольги, а даже фантазировал, как можно её убить. В самые тяжёлые бессонницы, он листал энциклопедический словарь из которого узнал о ядах, грезились капли, которые после вскрытия не оставляли следов, из детективов он вычитал о медленных отравлениях, с побочными явлениями «ежедневной рвоты, головокружения, звоном в ушах…», человек умирал в течении нескольких месяцев, но неизвестно от чего. Но всё замыслы, дальше болезненного воображения не шли, наступало утро, растворялись чёрные тени, и днём в обычной суете, он забывался работой.

— Можно подумать, что вы решили сбежать от вашей жены, а не из страны Советов? — как бы читая мысли Голицына усмехнулся «джеймс», — Но скажите, кто, всё-таки перед отъездом с вами разговаривал, кроме начальства? Ведь, насколько нам известно, на такую съёмку, кого попало не пошлют. Это дело ответственное, обычно инструктаж проводят, а потом отчёты требуют.

— Была у меня встреча, со сценаристом, он когда-то здесь в Париже работал, то ли в Торгпредстве, то ли в консульстве, а может и в Юнеско, я толком не понял. Он собрал большой материал по эмиграции, говорил мне, что встречался со многими из них, книжку написал, вот она и легла в основу нашего фильма. Да только, когда я встретился с его персонажами и начал их снимать, то понял, что всё у этого журналиста очень тенденциозно написано… я решил, что или совсем ничего не сниму, или всё по правде. Ну, а потом… прошло несколько недель, и знаете, я не только наслушался этих людей, но и надышался воздухом… Парижа, тут меня будто кто толкнул на окончательное решение.

Голицын опять, углубился в воспоминания, стал почему-то излагать свою концепцию будущего фильма, потом перескочил в прошлое, нырнул в воспоминания детства, рассказал о жизни и мытарствах матери, и совсем неожиданно вывалил подноготную дрязг советского телевидения.

Как всякий советский человек, воспитанный на университетском беспредметном многословии, ему казалось крайне существенным, обстоятельно погрузить «джеймса» в детальную окраску своего социума.

Офицер зевнул, для приличия прикрыв рот ладошкой, и спросил.

— Как фамилия этого журналиста?

— Его зовут Пётр Иванович Пряскин, да, он известный у нас человек, его часто в газетах публикуют, он теперь стал демократом…

— Да, он действительно известная личность и не только у вас, мы его, в своё время выпроводили из страны, так как он по совместительству со своей журналистикой, занимался не совсем тем, чем следует!

— Как выпроводили? За что? Неужели он шпион?

В ответ «джеймс» только рассмеялся. Потом пошли вопросы о составе съёмочной группы, каких эмигрантов они посещали и кого им в консульстве предлагали снимать ещё.

— Вы в курсе того, что теперь никогда не сможете вернуться в Россию? Что для них вы предатель, не знаю как сейчас, но в СССР, вам вынесли бы жёсткий приговор, вплоть до пожизненного заключения. А для ваших родственников вы тоже конченый человек, в такой ситуации они вряд ли захотят с вами общаться. Да и мы вам не советуем, хотя у нас есть примеры, когда КГБ засылало всяких эмиссаров с уговорами, со слёзными письмами от жён и детей, с клятвенными заверениями, что если вы вернётесь, то вам всё простят… Но не советую попадаться на эту удочку, история возвращенцев нам известна и она печальна, «там», мы уже ничем не сможем вам помочь.

— Я всё это представляю. Но, надеюсь, вы мне верите и не вышлете, как того журналиста? Знаете, мне нужно оглядеться, почувствовать себя человеком, я это в Париже понял, конечно, я другим ещё не стал, но один слой кожи уже поменял. Ведь я страх преодолел, а остальное… не будем загадывать. Если бы была жива моя мама, она бы порадовалась. Может быть вам покажется странным, но она помогала мне в этом решении, поддерживала мысленно, мне казалось, что я ощущал её присутствие даже сегодня…

Офицер встал из-за стола, подошёл к окну и поднял жалюзи, за окном начинался *зимний, серый* рассвет, и в комнате от этого не стало веселее.

— Я должен вас предупредить, что вам будет трудно здесь. Вы должны положиться на советы вашего родственника, мы ему позвонили и он за вами приедет — «джеймс» вынул из внутреннего кармана визитную карточку, протянул Голицыну, и неожиданно по-русски добавил — Здесь мои координаты, можете звонить, когда хотите.

Голицын растерянно всмотрелся в картонку, там стояло два слова и номер телефона, понять, где имя, а где фамилия он не мог, но больше всех был ошарашен Паша, видно он не ожидал, что «джеймс» всё понимает.

— Моё имя Ги, а фамилия Ру — видя замешательство переводчика, пояснил офицер, мы ещё не один раз будем встречаться и говорить, а теперь вас проводят до проходной, и пожалуйста не стесняйтесь, звоните.

Паша замешкался, что-то быстро стал говорить по-французски, будто оправдываясь в чём-то,

но Ги Ру вполне начальственно выслушал его, двумя словами дал понять, что встреча закончена, распахнул дверь кабинета и проводил их до самого лифта.

Его прощальное пожатие, показалось Голицыну столь же жёстким.

Пока они спускались в лифте, Паша сконфуженно молчал, может он не знал, что Ги Ру всё понимает по-русски, и ему казалось, что его подвергли некому экзамену. Александр Сергеевич пытался с ним заговорить, ободрить двумя словами, но тот как-то совсем сник, пожелал удачи и выйдя из лифта смешался с толпой служащих в холле.

Несмотря на Рождество здание Контрразведки немножко ожило, пустое пространство холла преобразилось, даже в праздник здесь сновали чиновники. Если бы ему сказали, что он находится в чреве местного КГБ, он бы не поверил, настолько в его представлении лица этих людей должны были соответствовать «нашим держимордам».

Из дальнего угла, где в кадке росла одинокая пальма с голубоватой неоновой подсветкой, отделилась знакомая фигуры, тяжело припадая на палку и с трудом передвигая своё тучное тело, старый князь простёр руку на встречу Александру Сергеевичу.

— Мой дорогой! Как же вы решились? Ну, да ничего, с Божией помощью мы всё одолеем. Клянусь, я вас не брошу. А теперь едем домой.

* * *

Квартира Светлейшего князя Голицына помещалась в массивном *каменном* доме девятнадцатого века. Александру Сергеевичу была выделена комната для прислуги, на последнем, шестом этаже, под самой крышей. В этой довольно убогой мансарде единственным украшением было окно, а так, стол, два колченогих стула, матрац и умывальник, уборная ниже этажом на лестничной клетке. В углу комнаты были свалены старые эмигрантские газеты и журналы, хорошо спрессовавшиеся от времени.

Вечерами, Александр Сергеевич погружался в эту кипу, и с удивлением и болью открывал для себя историю своей страны, так надёжно скрытую советской цензурой. О многом он слышал по «вражьим голосам», но далеко не всё, особенно события хрущёвской оттепели, процессы над диссидентами, посадки, закрытие церквей; пятидесятые годы, которые не только для него, да и для всей советской интеллигенции были надеждой на начало новой эры, но очень быстро переродилось в очередное закручивание гаек. Оттепель, оказалась зимней слякотью. Интеллигенции выдали аванс, потом, их же посадили на крючок и они получили свободу, в виде фиги в кармане, продолжая травить анекдоты на кухне.

Голицын открывал окно садился с ногами на подоконник, курил, слушал курлыканье голубей, смотрел на крыши, а дальше через них открывался вид на холм с белоснежным Сакрэ — Кёром, где-то справа маячил уродливый небоскрёб Монпарнаса, золотой купол музея Инвалидов… Можно было не двигаться, стараться ни о чём не думать, где-то внизу шумел город, он провожал закаты, а время как бы замерло, растеклось, словно кисель по тарелке и подёрнулось дрожащей плёнкой. Что будет завтра, послезавтра, через неделю — Голицыну было безразлично, в глубине сознания происходила глухая работа, он противился ей, старался не замечать, но чем больше ему приходилось погружаться в рутинность новой жизни, тем больше он понимал, что даже после своего прыжка в неизвестность, с удачным приземлением ему далеко ещё до душевного выздоровления. Да и как себя не растерять? Ах, было бы ему не шестьдесят, а двадцать!

Не зажигая света, скорчившись на подоконнике, он всматривался не только в ночь, но и в своё прошлое; в памяти всплывали образы детства, разговоры с мамой, их мытарства, и ненависть к жене. Было ли ему стыдно за свои преступные мысли? На этот вопрос он не мог ответить, но вполне сознавал, что осуществи он тогда свои замыслы, (а были моменты, когда он был на грани), то сейчас он не любовался бы Парижем.

Несколько раз в разговоре с князем, он почти был готов к раскаянию, но что-то его всякий раз удерживало. И он подумал, что так как он не совершил этого преступления, то нечего и рассказывать, а преступные мысли они и во сне бывают.

Через пару недель после своего прыжка, он позвонил жене, но та, как только услышала его голос, завопила, прокляла и бросила трубку.

С оказией, он послал письмо сыну — ответа не получил.

Может это было не по-христиански (так бы сказала его мать), но ему было приятно сознавать, что он вызывал ненависть у Ольги. Физического убийства не случилось, но удовлетворение, что он отомстил ей за все годы унижений — сердце его согревало. Может быть, это было не по-христиански (так, наверное, сказал бы тот старичок на кладбище), но он без сожаления, злорадно, представлял, как Ольгу вызывают в КГБ, как она оправдывается перед ними, а дома плачет и воет от бессилия.

Может быть, тоже, не хорошо, но у него совершенно не болело сердце за сына. Уже давно, сын перестал уважать его, и как ему казалось, стыдился отца.

Последней каплей, в их отношениях, был разговор, когда сын с презрительной усмешкой бросил ему «…что с тебя возьмёшь, ты же неудачник».

Горькие воспоминания не оставляли его.

Но больше всего, Голицын, страдал от отсутствия работы. Она настолько въелась во все его поры, превратилась в наркотик, что теперь оказавшись отрезанным от настоящего «дела», он ощутил огромную пустоту во всем теле.

Почти каждый день, ему приходилось заниматься мелкими и большими делами, в основном это касалось его оформления во Франции, эти «дела», разрастались в горы бесконечных ксерокопий, телефонных звонков, встреч с чиновниками, высиживанием в очередях, подач документов на всяческие пособия и вид на жительство. Князь ему помогал как мог, но из-за возраста, он поручил всю эту тягомотную беготню своему внуку, студенту третьего курса Сорбонны, который оказался милым молодым человеком, общительным, обаятельным, унаследовавшим внешность своих предков, но совершенно далёкий от русских вопросов и вполне иностранной складки. Он довольно хорошо знал русский и проводя часами с Голицыным в очередях всячески пытался расспросить его и понять, почему его дальний родственник сбежал из России.

— Скажите, мне дедушка рассказывал, что Россия до революции была почти как Европа, потом всё большевики уничтожили, но неужели сейчас невозможно её возрождение? Я читал, что столько природных богатств, нефти…, что она до сих пор сильная, вон, как все её здесь боятся.

— Не знаю, в чём её сила. Если только в нагнетании страха на весь мир, так это не сила, а слабость. Вот представь, была бы у тебя такая мать, или, скажем жена, которая в тебе не уважение, а один страх вызывала. Ты бы её любил и всё прощал? Уверяют тебя, что на унижении и бесправии долго продержаться нельзя… Все только и ждут в России второго

Сталина, и желательно, чтобы он был православный. До сих пор все мечтают о хозяине с железной рукой и в этом почему то видят стабильность Хотя у нас уже такое было… сколько людей, унизили, нещадно уничтожили, сломали веру и лишили собственной воли. Но на Руси матушке уроки истории, быстро забываются.

— Ну, а что же народ?! Вот у нас во Франции, попробуй, тронь только нашу демократию, забастовки пойдут, Париж в баррикадах уже не раз бывал, но мы отстоим свои права.

— Дорогой мой, у нас слово демократия, стала неприличным словом. Наш народ не знает, что с ней делать, его так давно оболванили, раздавили, что он превратился в недоумков. И не думай, что это произошло теперь, при развале СССР! Нет, это случилось, когда начался красный террор. Твой дедушка об этом хорошо помнит, многое может тебе рассказать.

— Нет, я не могу понять… ведь есть теперь в России такие как вы и молодое поколение выросло, я встречаю русских студентов в Сорбонне, они вроде нас… ну почти, как мы.

— Поверь мне, что таких очень мало, ведь на протяжении десятилетий у всей страны корчевали корни и обрезали побеги, так что и эта молодёжь другая, без памяти, без истории, лишённая воли. Я сам недоумок, а мой сын, который, кстати, твой ровесник, но, к сожалению, ему далеко до твоих рассуждений, он предпочитает не копать так глубоко, он уже сложился в молодого недоумка.

Эти темы волновали их обоих, а Кирилл, зовущийся нежно на французский манер — Сирилль, изо дня в день всё больше увлекался, задавал вопросы, пытался разобраться, в тайнах русской души своих предков; и Голицыну было несказанно радостно что, несмотря на другое воспитание, этот русский-француз до сих пор болеет Россией. Да и за собой он стал замечать, что на расстоянии он жалеет свою родину больше… может потому, что она была не досягаема.

* * *

Он несколько раз встречался с Ги Ру, уже без переводчика, на третий раз он показался Голицыну менее напыщенным, они подолгу разговаривали и когда, однажды, речь зашла о работе, сам предложил позвонить в редакцию «Русской мысли». Александра Сергеевича это удивило, но потом он сообразил, наверное, Ги Ру стали известны его беседы со старым князем. Он пару раз жаловался на безделье, на то, что не привык жить нахлебником, что ему хочется быть не просто полезным, но оказаться «при деле». В чём можно найти применение своего таланта в Париже он не представлял, тем более, что французского он не знал, и вся его деятельность сводилось к помощи князю по дому, прогулкам с собаками, хождению в гости и знакомством с многочисленными дальними родственниками.

Случай Голицына, облетел не только эмиграцию. Какое-то время разные журналисты крутились вокруг, даже показывали его пару раз по телевидению, но ажиотажа не произошло, так как Александр Сергеевич, совершенно не стремился к славе «изменника родины», а пикантных подробностей другой измены, просто не было, так что слава его, не успев разгореться, стала гаснуть.

Больше всех им гордился Светлейший князь! Более того, он как ребёнок, с новой игрушкой, носился с ним, приглашал на Голицына гостей, а те в свою очередь передавали его дальше. Круг расширялся, но с русской эмиграцией отношения у Александра Сергеевича складывались сложно, не однозначно; кто-то его принимал за героя, кто-то за шпиона, кто — за сумасшедшего, были и такие, кто откровенно говорил, что «он предатель своей родины». Голицын и не подозревал, что русская эмиграция, столь противоречива и настолько

размежевана.

Старый князь обрадовался, когда узнал, о возможной работе в «Русской Мысли», только добавил — «Вы не должны строить иллюзий. Хоть эта газета и старая, но в ней заправляет уже не та гвардия. Всё это люди для меня не близкие, не свои, хотя, есть среди них достойные диссиденты, кое-какие литераторы, философы, лучше всех главный редактор, она из наших, мы с ней знакомы лет тридцать».

Александр Сергеевич позвонил в редакцию и через пару дней был радушно принят тучной седовласой дамой, чем-то отдалённо напоминавшей Ахматову, она лично представила Голицына сотрудникам газеты, а те сразу зазвали его на огромную кухню и напоили чаем. Ему стало хорошо, по-семейному; большой рыжий кот прыгнул на стол, попугай в клетке закричал «Борька дурак», вокруг заговорили о политике, стали ругать Ельцина, хвалить Гайдара, и предложили взять у Голицына интервью. Поначалу, он отнёсся к этому коллективу с опаской, а потом ему здесь понравилось. Суета, суматоха, авралы перед выходом газеты неразбериха, крики, ссоры, мелкие интрижки… всё это было знакомо и даже забавно, он особо не вдавался в детали, держался в сторонке, писал странные вирши о путешествиях по русской глубинке, о дрязгах на телевидении, писал плохо, но милые редакторши помогали, доводили его «воспоминания» до совершенства.

Александр Сергеевич действительно оказался «при деле» и ностальгия по работе, как зубная боль стала отступать.

Потом, дальше — больше, дружный коллектив уже не казался ему «вражьим», а скорее даже своим, советским. Он зачастил в редакцию, прилепился к их жизни, постепенно стал незаменимым помощником, покупал корм коту, чистил его тазик, бегал на почту, сопровождал главного редактора до дома, пил чай, разглагольствовал с ней часами о «жизни и вере», а ещё, подружился с корректором Аллой, которая сидя на кухне, постоянно рассказывала ему о своих несчастных романах, курила и добавляла в чай виски. Лицо у неё было асимметричное, одна половинка как у клоуна плакала, а другая настороженно выжидала несчастий.

Как не банально, но время лечило раны Голицына, можно было ожидать, что он сопьётся или впадёт в депрессию, (а такое с некоторыми эмигрантами случалось) он не стал каждую неделю покупать лотерейный билет в надежде стать миллионером, и не превратился в коллекционера спичечных коробков с видами Парижа, печально, что он так и не прилепился к церкви, но, он стал фанатом этого города.

Город манил и звал.

У него возник некийсимбиоз с ним.

Он не мог бы сказать, что Париж это «его» город, что он его принял безоговорочно, но то, что этот город есть концентрация красоты и гармонии, которая возвышает, отгоняет дурные мыл, вытесняет жёлчь и целебным бальзамом лечит душу — это было так! Бродя по улицам теперь и «своего» города, он с горечью вспоминал рассказы некоторых коллег, которые, возвращаясь из загранпоездок, мрачно отмалчивались, а потом цедили сквозь зубы «да, ничего себе городишка…, мясо есть, а души нет». Ему тогда было нечем возразить, он в Париже не бывал, но теперь он тех моральных уродов презирал и вполне разделял мнение поэтов и художников, которые говорили, что здесь «нужно жить и умереть».

Голицын, не мог оценить особенности французского характера, языка он не знал, но, будучи человеком наблюдательным, он увидел, что народ этот любит свою страну, гордится ей, любит

вкусно поесть, повеселиться, много работает, путешествует, и помогает бедным. Правда их щедрость иногда не знала границ — к разноцветным иностранцам они относились не просто терпимо, а возились с разными правами меньшинств, защищали их, осуждали расистов, трубили об этом по телевидению, а многодетная арабо-негритянская семья получала такие «бабки», что не работая могла жить припеваючи. Их было здесь много. Поначалу Голицына это раздражало, как у всякого советского человека крутилось в голове «Россия для русских… Франция для белых», но постепенно он этих мыслей стал стыдиться, более того, он стал подавать милостыню.

Прогулки стали неотъемлемой частью его бытия.

Он мог часами бродить по бульварам, вдыхая ароматы цветущих каштанов, подставляя лицо под облетающие розовые лепестки, блуждая по ночным огнистым улицам, он присматривался к волшебно освещённым витринам, к толпе, к лицам, переходил мосты, спускался на набережные, где рядами стояли баржи, лодки и он вдыхал дурманный запах воды, вперемежку с дёгтем. Он как мальчишка, свешивался с мостов и махал рукой скользящим по Сене трамвайчикам, туристам со всего света, а они улыбались и что-то кричали в ответ.

Голицын полюбил парижское метро, с его весёлыми рекламными щитами, с приветливой толпой, так не похожей на мрачные лица сталинской подземки, а когда поезд выныривал из туннеля и выплывал всем своим лёгким, синим телом на ажурный мост и стайка японских туристов, щебеча, кидалась к окну, щёлкала аппаратами Эйфелеву башню, Марсово поле, Трокадеро, он улыбался и думал, «а мне уже не нужна фотка на память, всё это теперь моё».

Его мучило, что он живёт нахлебником у князя и не может себе позволить лишнюю трату, но как только за свои статейки он стал получать гонорары (жалкие гроши), не задумываясь он шёл в кафе, усаживался на веранде, заказывал чашку кофе или пиво, расслаблялся, вытягивал ноги и откинувшись на спинке стула, часами наблюдал за людьми, слушал весёлую перепалку гарсонов с клиентами, вспоминал прошлое и стоп кадры прежней жизни казались ему немым чёрно-белым кино. Будто всё это происходило не с ним, а с другим человеком.

Как он мог любить Ольгу? Как он мог жить в той стране?

Он узнал как хороша прозрачная парижская весна, потом лето, горячий жар раскалённых домов, с прохладой парков и бульваров, внезапный ливень; потоки воды устремлялись вдоль улиц, падали в особые щели в тротуарах и исчезали в подземных колодцах, через пол часа город высыхал и распускался как чёрная роза после дождя, а дворники-негры, огромными зелёными метёлками подталкивали листья и мусор в бегущие потоки, тщательно вычищали остатки ненастья, прихорашивали улицы, и Голицын, с ребячьей завистью посматривал на эти метёлки и ему хотелось поиграть как в детстве, в кораблики.

Он шёл дальше и в Люксембурском саду, усаживался на кромке круглого фонтана, в котором целыми днями дети всех возрастов гоняли парусники по воде, а старушки, с подсинёнными волосами, чинно сидели на белых стульчиках, читали газеты, книжки, выгуливали внуков; и по ним Голицын сверял время, ровно в двенадцать они подымались и шли обедать.

Он бродил по всему городу, узнал его северные кварталы с беднотой, фешенебельный левый и правый берег Сены, самый красивый проспект мира Шанс Елизе, Лебяжий остров, современные небоскрёбы Дефанса, и оживленный, туристический Китай город…

Он принадлежал только себе и ему, он делал, что хотел, а мог и не делать вовсе, и довольствоваться малым, Париж шептал на ухо, что не бросит его и любой его уголок станет

для Голицына приютом.

Конечно, он побывал и в Лувре и в музее Орсэ, а однажды князь повёл его в оперу, но главным музеем был сам Париж, в его атмосфере, он чувствовал собственное ощущение бесплотности, растворения и свободы! Да, да! Он, наконец, понял, что такое Свобода!

И странно, Александр Сергеевич, впервые за долгие годы перестал бояться приближения ночи, кошмарные сны, чёрные тени, сменились пёстрыми весёлыми картинками, которые стирались из памяти, как только он просыпался, но оставалось чувство радости. А ещё, за долгие годы, впервые, он ощутил лёгкость во всём своём старом теле, будто город поделился с ним не только силами, но и напоил живой водой; и не в первый раз некая невидимая соринка, лёгкая песчинка щекотала горло, учащённо билось сердце и благодатные, счастливые слёзы наворачивались ему на глаза.

* * *

Старый лифт медленно полз на последний этаж. Он напоминал узкий школьный пинал, их тела были плотно прижаты друг к другу.

— Прошу вас, только никаких разговоров о политике, в этой семье предпочитают смеяться, а не вести заумные беседы, — раздражённо произнесла Алла, а он сразу почуял запах, опять она пила, а ведь обещала до вечера не притрагиваться.

Странно, но с утра, его не покидало ощущение, что из этого случайного посещения выйдет сегодня нечто значительное, непредвиденное.

На лестничной площадке цветы в горшках, гостевой шум слышался из распахнутой настежь входной двери. Для приличия Алла нажала кнопку звонка.

— А вот и наша Алинушка! — моложавый мужчина, босиком, в белоснежном индийском костюме облапил Аллу и зацеловал. Он как две капли воды походил на своего знаменитого деда писателя, подчёркнутая стилизация в причёске и бороде, дополняла сходство.

— Это Александр Сергеевич — произнесла Алла и хозяин в таком же припадке возбуждения, будто-то сто лет ждал этой встречи, кинулся на шею Голицына.

— Какая встреча, проходите скорее, — и он потянул их вглубь квартиры, — ребятки, смотрите, кого нам привела Алинушка… Это же Пушкин!

Просторная прихожая, направо большая комната, налево застеклённая веранда с тропическими растениями, «индус» увлекал их дальше, вглубь квартиры, всюду народ, кто стоит, кто полулежит на низких кушетках, курят, пьют, группками разговаривают, девушки в белых передничках разносят подносы с закуской, издалека слышится гитарный перебор и русский романс. Алла увидела знакомого и опустилась у его ног прямо на ковёр, ей сразу плеснули виски.

— Зора, Зора… ты где?! Сейчас я найду мою жену…

Хозяин ласково обнимал Голицына за плечи, больше двух минут было трудно удержать его внимание, поговорки, шутки, прыгали, мелькали, он знал их великое множество. Неожиданно перед ними возникла маленькая, костлявая балерина, в розовой пачке, атласных тапочках, её огненно рыжую шевелюру украшал большой белый бант. В полутемноте она казалась неуклюжим подростком, впечатление портила сигарета прилипшая к губам, в одной руке

пепельница в другой стакан с красным вином. Балерина встала на пуанты и усмехнулась.

— Я Зора, а ты значит Пушкин? Присоединяйся, выпьем за моё здоровье, мне сегодня восемнадцать, праздную совершеннолетие. Может стишки новые, почитаешь?

— Нет, моя фамилия Голицын, а зовут меня Александр Сергеевич, от этого вечная путаница.

Он по-детски засмущался, ему стало неловко за великого поэта, за себя и вообще всё вдруг стало противно и захотелось побыстрее уйти.

— Так ты ещё и князь? — усмехнулась Зора, — Пойдём, я тебя со всеми познакомлю. Подадим тебя на десерт.

Александру Сергеевичу показалось, что он стал персонажем Феллинневского фильма, вот сейчас, заиграет трубач, а потом появятся карлик и толстая женщина с бородой. Балерина крепко держала его за пуговицу пиджака и на кончиках пальцев, пританцовывая, перешла в соседнюю комнату, девушка-прислуга на ходу подлила ей красного.

— Внимание господа! Вот это Пушкин, он же по совместительству князь Голицын торжественно объявила Зора. Разговоры вокруг смолкли, десятки любопытных глаз устремились на Александра Сергеевича. — Все видели о нём передачу по телевизору, а ещё в газетах писали о нём?! Он герой, перебежчик! Дарю вам его на сладкое!

Секунда тишины, а потом опять все между собой заговорили кто по-французски, кто по-русски… Зору качнуло и она, потеряв равновесие, повалилась на мужчину сидящего рядом на низком диване, красное вино разлилось на розовую пачку.

Александр Сергеевич поискал глазами Аллу, но в полутьме свечей и скоплении тел он её не нашёл.

— Расскажи нам, расскажи князь, как ты чухнул?! — пьяным голосом кричала Зора.

Но тут всеобщее внимание привлёк маленький, щупленький мальчик в пижаме. Волосы ребёнка были взъерошены, шея замотана толстым вязаным шарфом, в руках он держал игрушечного монстра. Мальчик вглядывался в силуэты полулежащих гостей и искал кого-то, вот он увидел Зору, подошёл к ней, та потрепала по щеке, он заплакал и побежал из комнаты. Отец ловко настиг его в коридоре, сгрёб в индусские объятия, потом усадил на пол и достал из глубокого кармана пузырёк с микстурой. Мальчик мотал головой и плакал навзрыд: — Не хочу лекарства, не будуууу!

У отца в руках, как по мановению волшебной палочки, появился стакан морковного сока, чайная ложка, яйцо всмятку, мальчик, зажатый в угол, бился в истерике, отец силой влил в него микстуру, потом сок и запихнул яйцо. Ребёнок тут же выплюнул всё обратно.

— Вот, познакомьтесь, Александр Сергеевич. Это моя любимая жареная курица, я его обожаю, он маленький гений, у него ангина, болят уши, вот он и капризничает. А сейчас, он покажет вам свою комнату. Дэн, покажи Пушкину свою берлогу.

Мальчик освободился из объятий отца, взял Голицына за руку и повёл вглубь квартиры, они поднялись по внутренней лестнице на антресоль, и попали в сказочное царство. Огромное пространство нависавшее вторым этажом над всей квартирой, очень отдалённо напоминало «Детский мир», скорее это была каверна Али-Бабы, заполненная до потолка немыслимыми игрушками. Что-то двигалось, жужжало, разговаривало металлическим голосом, мелькал

экран телевизора и компьютера, с потолка свисали разнообразные модели самолётов, в центре комнаты, макет замка, фигурки рыцарей, солдатиков, лошадей, рельсы железной дороги уложенные по периметру антресолей… Лицо малыша преобразилось, от страдальческого выражения не осталось и следа.

Дэн был одинок и вполне счастлив в своём одиночестве, так, по крайней мере, казалось родителям. Отец ему не отказывал ни в чём, мать полностью доверяла польской няне. Почему отец считал его гением и что такое гений, мальчик не понимал, но то, что он небожитель из своих сказок он твёрдо усвоил, его виртуальный мир стал для него настоящим убежищем. «Как хорошо, что у этого мальчика есть куда скрыться», — подумал Голицын.

— Ну, идём же со мной Пушкин, ты должен рассказать о себе, — розовая пачка медленно поднималась по лестнице, вот она рядом, она неуклюже пытается приласкать сына, он от неё отбрыкивается, переползает на коленях в другой конец комнаты, прячется, щёлкает зажигалка, Зора глубоко затягивается.

— Зора, не кууурррриии! — истошно кричит ребёнок.

— Слушай, ты мне надоел, пошёл ты в баню, что хочу то и делаю, я тебе жить не мешаю, и ты мне не мешай. Идём вниз! — и она решительно взяла Голицына под руку. — Тоже мне морализатор нашёлся, то не пей, то не кури! Я ему райскую жизнь устроила, а он мне мозги пачкает, эколог какой-то и откуда у него эти замашки. Есть перестал, голодовку объявил, на одних макаронах живёт, а отец в истерике, бегает за ним целыми днями с ложкой, пытается насильно кормить. Чего ему не хватает, не пойму…

Они спустились вниз, Зора затянула Голицына на застеклённую веранду, здесь было удушающе жарко, тропические растения превратили это место в настоящую оранжерею.

— Расскажи мне, как ты решил остаться. Тебе было страшно? За тобой ГБ прыгало, а французы скрывали, прятали? Ты, наверное, всякие секреты знаешь…, тебя в Москве приговорили к расстрелу?

Она умирала от любопытства, ей хотелось знать больше, чем из газет, она впервые видела русского героя и представляла его совсем иначе. Перед ней сидел не «супермен», а довольно усталый, не молодой мужчина, в потрёпанном пиджачке и стоптанных башмаках.

Герой молчал.

— Ну, а что ты умеешь делать в жизни? Это правда, что ты режиссер и на телевидении работал? На это у нас не проживёшь, нужно тебя толкнуть в жизнь, знаешь у меня куча связей, друзей пол Парижа, хотя русских здесь как собак не резанных, все голодные, все хотят урвать, да побольше. Хоть и пишут в объявлениях, что они с тремя дипломами, но готовы на любую чёрную работу. Нужно подумать как тебя приспособить.

Он молчал, он устал рассказывать о себе, хотелось выпить и желательно водки.

— Слушай, а ты и вправду князь? Я эту белую кость презираю, их нужно было всех в семнадцатом перерезать, да многие сбежали, в Париже осели. Ты, за Царя или против него… а может ты православный, верующий? Видала я в гробу это ваше православие…

— К сожалению, я плохой верующий, — глухо произнёс Александр Сергеевич. — Я не совсем понимаю, о чём вы говорите, я не знаю этой страны и плохо знаком с эмиграцией, только сейчас начинаю понимать как она разнообразна. Оказывается, в ней есть и такие люди как вы

и ваш муж, они думают иначе…

— Иначе, чем кто? Знаешь, Пушкин, я ведь из Польши приехала, меня малышкой сюда привезли, я родилась в Львове, помню, как в Варшаве мы с сестрёнкой развлекались, поливали чернилами из окна польских девчонок, которые к первому причастию шли. Вот умора была, все их белые платьица в фиолетовых подтёках… Мои родители в Польше преуспели, папа был военный, мама в гарнизоне столовой заправляла, а потом нас сложными путями вытащили сюда дальние знакомые. Правдами и неправдами, удалось переправить кое-что из папулькиных накоплений, он у меня марки коллекционировал, так, когда мы через границу ехали, никому тогда в голову не пришло всматриваться в его марочные альбомы… да под подкладку пиджака. Долго рассказывать о нашей жизни не буду, мыкались мы здесь годами, всякие «толстовские фонды» помогали, мы ничем не брезговали, потом мои предки магазин открыли… антикварный, ну а потом я встретила «индуса». Он на меня клюнул сразу, а я своего шанса не упустила, сразу родила ему маленького гения. Ты плохого не подумай обо мне, я своего Шасю люблю, он мне все прощает, жалеет меня. Мы с ним одного поля ягода. Знаешь ведь его бабушка из троцкистов-бомбистов, а дед, писатель, из революционеров, так что к «белой кости» у него наследственная аллергия. С ним на эти темы разговоры лучше не заводить, засмеёт.

Голицын посмотрел на часы, было уже за полночь, пора уходить и захватить Аллу, хотя вырвать её отсюда, задача не из лёгких. Откровения Зоры были ему не интересны, за последние месяцы ему многое стало ненавистно в русских эмигрантах, а разобраться в тонкостях, понять, почему одни ненавидят других, он не мог. Его жизнь сложилась здесь не совсем так как он себе представлял.

Зора, подлила себе в стакан и уютно устроилась в шёлковых подушках низкого дивана.

— Присоединяйся герой, у нас вся ночь впереди, поговорим о жизни, я страсть как люблю философствовать. Я твои статейки в «Русской мысли» читаю, так себе, не очень гениально, знаешь, ведь я тоже сочиняю, готовлю книгу рецептов, вот Алка её корректирует, хотела тебя попросить, помочь мне… может подкинешь кое-какие идеи?

Голицын выпил и почувствовал как его нижние конечности растворяются, кресло, в котором он сидит оторвалось и плавно полетело по комнате, голова наполнилась веселящим газом, а мысли поскакали чехардой и призвали к хулиганским действиям.

— Что же вам своих «рабов» не хватает? Муж ваш такой пост занимает, что, наверное, многие русские готовы услужить ему и вам? Я слышал, от Аллочки, как вы её третируете, да и не только её…

Зора злобно сверкнула глазами.

— Ты, наверное, Пушкин не читал Оруэлла, там у него в «Скотском хуторе» персонажи прописаны — коровы, куры, свиньи, козлы, они мне вполне кое-кого напоминают, а из своего личного опыта, я давно заключила, что только русские должны подтирать задницы нашим детям, у них это замечательно получается, ну и в зависимости от талантов, делать кое-что другое.

Он и не подозревал, что вдруг, все те чувства, которые он когда-то испытывал к жене, отрицательная масса гнилой энергии, разъевшая его душу — враз, вскипит! Вскрыть нарыв, тогда смелости не хватило. А тут, у него не только зачесались руки, но и какой-то голос шепнул, что совершенно спокойно, он может не только закатить неприличный скандал, но

крепко врезать по личику этой вульгарной старой кукле. Ему было невыносимо слышать не только личные оскорбления, но и что к России, относятся как к какому-то прогнившему телу, а к русским как к скоту.

Он встал, его сильно качнуло.

— Слушай… ты, я хочу тебе дать совет…

Дыша вином и ненавистью, он схватил её за руку, она взвизгнула, народ примолк, а он не узнал своего голоса.

— Слушай, кто тебе дал право так презирать русских!

— Патриот… поганая рука Москвы, вон из моего дома!

— Не волнуйся, я сейчас уйду, только скажу тебе кое-что. Прекрати писать свои бездарные кулинарные книги, всё это сплошной плагиат и компиляция… пока не поздно, заведи молодого любовника, грабани мужа, а не то твой Шася тебя опередит, видишь он уже в том углу тискает Аллочку.

Ха-Ха-Ха! Он смеялся. Он хохотал. Он дёрнул её за бант, тот покосился и вместе с рыжим париком остался у него в руке!

Гробовая тишина, резко сменилась реквием, это Шася врубил магнитофон на полную катушку.

— Заткни, своего Моцарта! — рявкнула Зора и плеснула вином в лицо Голицыну.

Кто-то кинулся её успокаивать, Шася в панике метался по комнате, Аллочка повисла на Голицыне, больно вцепилась зубами в его руку, но он вырвался и ринулся к выходу, опрокинул стул, поскользнулся, чуть не растянулся, захватил на ходу не допитую бутылку виски и громко хлопнул дверью! Уф! Ура! Скандал вышел на славу!

Ноги несли сами, только странно, что они были как не свои, и выделывали странные кульбиты, то спешили, то плелись, носки цеплялись друг за друга, а иногда ему казалось, что он на цирковых ходулях и тени ночных автомобилей скользят где-то внизу. В голове звенела счастливая пустота и навязчивые аккорды реквиема.

Он был доволен, ему было хорошо.

Свершилось!

Он свободен, как ветер и этот город его дом!

Вот она долгожданная воля!

Он шёл медленно, спешить было некуда, всё окончательно в прошлом, на ходу он подносил горлышко ко рту, отпивал большой глоток, весёлая компания молодёжи обогнала его, кто-то ободряюще похлопал по плечу, дал прикурить, вот он миновал знакомый квартал, потом площадь, видно завтра здесь будет базар, потому что заранее приготовлены длинные столы под навесами, ещё поворот, он уже на незнакомой безлюдной улицы, откуда то потянуло сыростью, будто из подвала, ему показалось, что впереди маячит огонёк, наверное, это станция метро, хотя уже поздно и оно закрыто, вот ещё несколько метров и резкий свет фонарика ослепил его, залаяла собака, кто-то закашлял и хрипло сказал: «Камарад, вьен ше ну, не па пёр…»

Так, он и не испугался, а с радостью принял приглашение, опустился на что-то ватное, мягкое, тёплый воздух вентиляционной решётки смешался с запахом дешёвого вина и грязных тряпок, рядом зашевелилась фигура под одеялом и невидимая рука укрыла его плечи чем-то тяжёлым и мохнатым. Веки отяжелели, голова склонилась на чью-то спину и засыпая, почти машинально он похлопал себя по боку, там, где обычно хранился его бумажник с документами, но карман был пуст.

«Вот и хорошо, — проваливаясь в сон, и блаженно улыбаясь подумал Голицын — как всё славно получилось, теперь я свободен, и никто, никогда не найдёт меня».

## Примечания

[1] Школа рабочей молодежи. — Прим. ред.

[2] Дом Ленинградский Торговли. — Прим. ред.

[3] Еврейское агентство, занимающееся «абсорбцией репатриантов» в Израиле. — Прим. ред.

[4] Hebrew Immigrent Aid Society (англ.) — Общество помощи еврейским иммигрантам. — Прим. ред.

[5] Правильнее «сквот», слово англо-амер. происхождения от squat — нелегально занятое помещение, превращенное в коллективное жилье и культурный центр, своеобразная коммуна. — Прим. ред.

[6] Выигрывал крупную сумму денег. — Прим. ред.

[7] Игральный автомат. — Прим. ред.

[8] Золотой жетон (франц.). — Прим. ред.

[9] Сергей Трофимов (Трофим) — композитор, поэт, музыкант, исполнитель своих песен. — Прим. ред.

[10] Деньги (жаргон). — Прим. ред.

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch